

КЕН
КИЗИ



Над гнездом
кукушки



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Кен Кизи

Над гнездом кукушки

«ЭКСМО»

1962

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Кизи К. Э.

Над гнездом кукушки / К. Э. Кизи — «Эксмо»,
1962 — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-173809-9

Культурный роман, который входит в сотню самых читаемых по версии «Таймс». Вышел в шестидесятых, в яркое время протеста нового поколения против алчности, обезличивания, войн и насилия. Либерализм против традиционализма, личность против устоев. Роман потрясает глубиной, волнует, заставляет задуматься о жизни, о справедливости, о системе и ее непогрешимости, о границах безумия и нормальности, о свободе, о воле, о выборе. Читать обязательно. А также смотреть фильм «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли. По мотивам романа также поставлено множество спектаклей в разных странах, в том числе в России. «Над гнездом кукушки» — это грубое и опустошающе честное изображение границ между здравомыслием и безумием. «Если кто-нибудь захочет ощутить пульс нашего времени, пусть читает Кизи. И если все будет хорошо и не изменится порядок вещей, его будут читать и в следующем веке», — писали в газете «Лос-Анджелес Таймс». Действительно, и в наши дни книга продолжает жить и не теряет своей сумасшедшей популярности.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-173809-9

© Кизи К. Э., 1962

© Эксмо, 1962

Содержание

Часть первая	7
1	7
2	10
3	13
4	19
5	27
6	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Кен Кизи

Над гнездом кукушки

Ken Kesey

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

Copyright © Ken Kesey, 1962.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Viking, a member of Penguin Group (USA) Inc

Перевод с английского Дмитрия Шепелева

Оформление серии Натальи Ярусовой

В коллаже на обложке использованы фрагменты работ художников Эндрю Уайета и Франсуа-Эмиля Барро

© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2022

* * *

*Вику Ловеллу,
который сказал мне, что нет никаких драконов, а потом привел
в их логово.*

*Кто на запад – ни пера, на восток – ни пуха,
Ну а кто-то пролетел над гнездом кукушки.
Детская считалка*

Часть первая

1

Там они.

Черные ребята в белой форме, рукоблудят в коридоре, спустят на пол и подотрут, пока я их не застукал.

Как раз подтирают, когда выхожу из палаты, все трое хмурые и ненавидят все вокруг, ранний час, это самое место, людей, с кем приходится работать. Когда так ненавидят, лучше им не попадаться. Я крадусь по стенке в парусиновых туфлях, но у них такие специальные датчики на мой страх, и они поднимают взгляд, все трое, глаза сверкают на черных лицах, словно лампы в старой радиоле.

– А вот и Вождь. *От* такой Вождь, ребзя. Вождь Швабра. На-ка, старик...

Сует мне тряпку в руку и показывает, где мыть сегодня, и я иду. Другой подгоняет, стуча по ногам ручкой швабры.

– Хах, гляньте на него, ёпрст. Такой громила, мог бы яблоки есть с моей головы, а смиренный, как дите.

Смеются, а потом слышу, что-то бормочут, составив головы. Загудела черная машина, загудела ненавистью, смертью и прочими больничными секретами. Они при мне не делают секрета из своей ненависти, потому что думают, я глухонемой. Все так думают. Я довольно хитрый, чтобы обдурить их. Если мне хоть чем-то помогла в этой грязной жизни половина индейской крови, так это хитростью, все эти годы помогала.

Когда я мою перед дверью в отделение, слышу, как снаружи вставляют ключ, и понимаю, это Старшая Сестра, так плавно входит ключ в замок, легко и быстро, приноровилась за все время. Она проскальзывает внутрь, впуская холодный воздух, и закрывает дверь, и я вижу, как ее пальцы гладят полированную сталь – кончики пальцев в тон губам. Ярко-оранжевые. Словно кончик раскаленного железа. Цвет такой горячий или холодный, что не поймешь, если она коснется тебя.

У нее плетеная сумка, вроде тех, какие продает племя ампкава¹ в августе, на обочине раскаленного шоссе, по форме точно ящик с инструментами, с ручкой из пеньки. Она с ней все время ходит. Плетение свободное, и мне видно, что внутри; ни косметички, ни помады, никаких женских вещиц, но навалом всякой всячины для рабочих задач – шарики и ролики, шестеренки, начищенные до блеска, пилульки, блестящие, как фарфор, иглы, кусачки, пинцеты, мотки медной проволоки...

Кивает мне, когда проходит мимо. Я отъезжаю от швабры к стене и улыбаюсь, опуская глаза, всеми силами стараясь заглушить ее датчики – тебя не видно до нутра, когда закрыты глаза.

Слышу в темноте, как ее резиновые каблуки стучат по кафелю, а добро в сумочке брякает в такт шагам. Шагает скованно. Когда открываю глаза, она уже дошла до стеклянной будки, где просидит весь день за столом, глядя через окошко в дневную палату и все записывая, восемь часов кряду. Лицо довольное, себе на уме.

И тут... она засекает черных ребят. Они стоят все там же и знай себе треплются. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почуяли ее взгляд, но уже поздно. Хватило ума прохладиться, когда ее смена. Развели подальше лица, винятся. А она надвигается на них в

¹ «Умрқа» (англ.) – индейское племя, проживающее в резервации в штате Орегон (здесь и далее прим. пер.).

полуприседе, собирается зажать в углу и спаять. Она знает, о чем они трепались, и я вижу, как она расвирепела. Удержу нет, готова черных гадов в клочья разорвать. Она раздувается, халат на спине трещит, и руки выдвигаются настолько, что пять-шесть раз обернут всю их троицу. Поводит туда-сюда массивной головой. Никого поблизости, только старый полукровка Швабра-Бромден спрятался за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что немой. Так что опасаться некого, и ее накрашенная улыбка кривится, растягиваясь в оскал, а сама она все растет и растет, уже с трактор вымахала, до того огромная, что я чую запах мотора, словно тягач надрывается. Я задерживаю дыхание и смекаю, боже правый, на этот раз им кранты! На этот раз они возвели такую ненависть, выше крыши, что в клочья разорвут друг дружку, и глазом моргнуть не успеют!

Но едва сестра начала оборачивать черных раздвижными руками, а те – потрошить ей нутро ручками швабр, как из палат показались на шум пациенты, и сестра быстро вернула свою маскировку, пока ее не застали в подлинном виде. К тому времени, как пациенты навели свои глаза на резкость, чтобы рассмотреть, что там за сыр-бор, они увидели всего лишь Старшую Сестру, говорящую черным ребятам в своей обычной, сдержанной манере, со спокойной улыбкой, что негоже прохладиться утром *понедельника*, когда *столько* всего надо сделать в первое утро новой недели...

– ...Сами понимаете, ребята, понедельник день тяжелый...

– Ну да, миз Рэтчед...

– ...И у нас хватает дел на утро, так что, если ваше внеочередное совещание *не слишком срочное*...

– Ну да, миз Рэтчед...

Она умолкает, чтобы кивнуть отдельным пациентам, вставшим поодаль, глазеющим красными, припухшими со сна глазами. Каждого выделяет кивком. Четким, как у робота. Лицо у нее гладкое, выверенное и проработанное, как у дорогой куклы, кожа из эмали натурального бело-кремового цвета, голубые глаза, носик пуговкой, розовые ноздри – все тютельница в тютельница, кроме цвета губ и ногтей, да еще размера груди. Где-то в расчеты закралась ошибка, и на идеальную в остальном фигуру навесили эти большущие груди, предмет ее постоянной досады.

Пациенты все стоят и кумекают, за что сестра распекает черных, так что она вспоминает про меня и говорит:

– И *раз уж* сегодня понедельник, почему бы нам, ребята, не задать хороший старт этой неделе, побрив первым делом бедного мистера Бромдена, пока не началась обычная толкучка в цирюльне после завтрака, и постараться избежать... э-э... суматохи, какую он обычно вызывает, что скажете?

Пока никто не обернулся на меня, я пячусь в чулан, прикрываю дверь и задерживаю дыхание. Бриться до завтрака – хуже некуда. Когда заморил червячка, у тебя хоть какая-то сила и бдительность, и гадам, что работают на Комбинат, не так-то просто подобраться к тебе со своими машинками вместо электробритвы. Но когда бреют *до* завтрака, как она мне иногда устраивает – полседьмого утра в комнате с белыми стенами, и раковинами, и трубчатыми лампами на потолке, не дающими теней, и кругом тебя кричат лица, захваченные зеркалами, – что ты можешь против их машинок?

Я прячусь в чулане и слышу, как сердце стучит в темноте, и стараюсь прогнать страх, отогнать подальше мысли – даю им задний ход и вспоминаю поселок и большую реку Колумбию, когда однажды, эх, пошли мы с папой охотиться на птиц в кедровнике под Даллесом²... Но, как всегда, когда я пытаюсь задвинуть мысли в прошлое и схорониться там, страх тут как тут, просачивается в мою память. Чую, как один черный малый идет по коридору, вынюхивая

² Даллес – самый крупный город округа Васко, штат Орегон, США.

мой страх. Выставил ноздри, точно двустволку, и башкой туда-сюда поводит, втягивая страх со всего отделения. Вот, и меня почуял, слышу, фыркает. Где я спрячусь, не знает, но рыщет и вынюхивает. Замираю...

(Папа говорит, замри, говорит, собака почуяла птицу, вот-вот выгонит. Мы одолжили легавую у человека из Даллеса. Папа говорит, поселковые собаки сплошь дворняги *пар-виш-вые*, на рыбьей требухе весь нюх растеряли; а энта собака, у ней *истинт!* Я ничего не говорю, а сам вижу птицу в можжевельнике, припала к земле серым комком перьев. Собака бегаёт кругами, ошалев от запаха, хоть и легавая. Птица жива, покуда сидит смирно. Она держится до последнего, но легавая все кружит и вынюхивает, все громче и ближе. И вот птица срывается, расправив крылья, и вылетает из можжевельника прямо под папину дробь.)

Не успел я сделать десять шагов от чулана, как меня ловят двое черных, самый мелкий и побольше, и тащат в цирюльню. Я не упираюсь, не шумлю. Закричишь, тебе же хуже. Сижу, терплю. Терплю, пока до висков не добрались. Сперва я еще сомневался, бритва это или одна из тех вражьих машинок; но как до висков добрались, тут уж всё. Как тронули виски, никакой воли не хватит. Это ж... как кнопку нажали – *воздушная-тревога-воздушная-тревога*, – и я включаюсь на такую громкость, что звука не слышно, и все орут на меня из-за стекла, заткнув уши и раззявив рты, но без звука. Я их всех переозвучил. Опять включают туман, и меня засыпает снег, белый и холодный, точно снятое молоко, да так густо, что я мог бы туда занырнуть, если б меня не держали. Не вижу ни зги в тумане, слышу только, кроме вопля своего, как Старшая Сестра голосит и чешет по коридору, раскидывая пациентов своей сумкой. Слышу ее все ближе, но не могу замолчать. Так и вою, пока она подходит. Меня держат, а она пихает мне в рот сумку со всем добром и проталкивает ручкой швабры.

(Крапчатая гончая заливается лаем в тумане, носится, испуганная, потому что не видит. Никаких следов на земле, кроме собственных, и она нюхает все вокруг холодным резиновым носом и не чует ничего, кроме своего страха, прожигающего ее насквозь.) Вот и меня также прожжет, и я наконец расскажу про все это, про больницу, про сестру с ребятами и про Мак-мёрфи. Я так долго молчал, что теперь меня прорвало, как плотину, и вы решите, раз чувак несет такое, он выжил из ума, *бог ты мой*; решите, не могло быть ужаса такого, слишком это кошмарно для правды! Но прошу вас. Мне все еще непросто собраться с мыслями, как подумаю об этом. Но это правда, даже если было все не так.

2

Когда туман рассеивается и снова все видно, я сижу в дневной палате. На этот раз меня не повезли на шоковую терапию. Помню, после бритья заперли в изоляторе. Не помню, давали завтрак? Наверно, не давали. Другой раз, бывало, лежу утром в изоляторе, и черные приносят всякий хавчик – вроде как мне, а уплетают сами, – так все трое и позавтракают за мой счет, пока я лежу на ссаном матрасе, глядя, как они яичницу хлебом подчищают. Пахнет топленым салом, и жареный хлеб хрустит на зубах. А то еще холодной каши принесут и заставят съесть, даже без соли.

Но этого утра совсем не помню. В меня будь здоров напихали этих самых пилюлек, так что в памяти провал, а потом слышу, дверь отделения открывается. Если она открывается, значит, самое раннее восемь часов, значит, я пролежал в изоляторе часа полтора в отключке, когда могли прийти техники и приделать мне все, что Старшая Сестра прикажет, а я и не узнаю.

Слышу возню у двери, дальше по коридору, но что там, не видно. Эта дверь начинает открываться в восемь и за день сто раз откроется-закроется, шух-шух, *клац*. Каждое утро мы сидим по струнке вдоль стен дневной палаты, складываем мозаики после завтрака, слушаем, как ключ в замке поворачивается, и ждем, что будет. Больше заняться нам особо нечем. Иногда заходит кто-нибудь из молодых врачей при больнице, посмотреть на нас, какие мы *до приема лекарств*. До п. л., как они говорят. Иногда жена кого-то навещает, на шпильках, прижимая сумочку к животу. А то еще приводит школьных училок этот дурачок из общественных связей, который вечно хлопает потными ладошками и говорит, как ему радостно, что психбольницы теперь покончили с прежней жестокостью. «Какая *душевная* атмосфера, не правда ли»? Крутится вокруг училок, сбившихся в кучку для надежности, и хлопает ладошками. «Ох, как вспомню, что творилось в прежние дни, всю эту грязь, плохое питание и, да, бесчеловечность, ох, ясно вижу, дамы, как далеко мы продвинулись по пути прогресса!» Кто бы ни вошел в эту дверь, мы им обычно не рады, но всегда остается надежда, и когда вставляют ключ в замок, все головы поворачиваются как по команде.

Этим утром замок щелкает как-то чудно; за дверью кто-то необычный. Слышен голос сопровождающего, напряженный и нетерпеливый: «Принимайте нового, подойдите, распишитесь за него», – и черные идут.

Новый. Все прекращают играть в карты и «Монополию», поворачиваются к двери палаты. Почти всегда я мету коридор и вижу, кого записывают, но этим утром, как я уже объяснил, Старшая Сестра напихала в меня стотыщ фунтов, и я не сдвинулся с места. Почти всегда я первый вижу нового, смотрю, как он юркнет в дверь, прокрадется по стеночке и встанет весь зашуганный, пока черные ребята подойдут расписаться за него и отведут в душ, где разденут и оставят дрожать с открытой дверью, а сами, все втроем, будут весело бегать туда-сюда, ища вазелин. «Нам *нужен* этот вазелин, – скажут они Старшей Сестре, – для термометра». Она окинет их взглядом: «Ну, *разумеется*, – и даст вот-такенскую банку, – но смотрите, ребята, не толпитесь там». А дальше я вижу, как двое, а то и все трое, набьются туда, в душевую, вместе с новеньким, и обмазывают термометр вазелином, слоем в палец, приговаривая: «Так-точь, мать, так-точь», – а затем закроют дверь и вывернут все краны, чтобы ничего не было слышно, кроме злого шипения воды по зеленому кафелю. Я почти всегда неподалеку и все вижу.

Но этим утром я сижу на месте и могу только слышать, как оформляют нового. И все равно, даже не видя его, я понимаю, что он не такой, как другие. Не слышу, чтобы он шелестел по стеночке, а когда ему говорят про душ, он не следует за ними, покорно потупив глазки, а отвечает громким, раскатистым голосом, что его уже отмыли дочиста, спасибо.

– Меня уже помыли утром в здании суда и прошлым вечером, в кутузке. И *чесслово*, мне бы еще уши промыли, пока везли сюда в такси, если бы нашли такой приборчик. Ёлы-

палы, похоже, всякий раз, как меня переводят куда-то, им надо отдраить меня перед, после и во время этого процесса. Только заслышу воду, начинаю собирать вещички. И *отвали*, Сэм, с этим термометром, дай минутку осмотреть новый дом; мне еще не приходилось бывать в Институте психологии.

Пациенты озадаченно переглядываются и снова смотрят на дверь, за которой слышен его голос. Громче, чем можно ожидать, когда черные поблизости. У него такой голос, словно он сверху вниз говорит, словно парит в вышине и покрикивает тем, кто на земле. Это голос старшего. Слышу, как он шагает по коридору, и это походка старшего, он уж точно не крадет; башмаки у него подкованные, и он цокает ими по полу. Возникает в дверях и стоит, большие пальцы в карманах, ноги шире плеч расставил, и все на него смотрят.

– Доброго утра, *братва*. – Над ним висит на бечевке бумажная летучая мышь, с Хеллоуина, и он щелкает по ней пальцем, запуская по кругу. – Дюже славный осенний денек.

Голосом он как папа, такой же громкий и ядреный, но сам на папу не похож; папа был чистокровный колумбийский индеец – вождь – твердый и лощеный, как приклад. Этот парень рыжий, с длинными рыжими баками и патлами из-под кепки, давненько не стриженный и такой широкий, каким папа был высоким, челюсть – во, плечи – во, и грудь колесом, усмехается во все зубы, и твердый он на свой манер, не как приклад, а как потертый бейсбольный мячик. Через нос и скулу тянется рубец, кто-то засветил ему в драке, и швы еще не сняты. Стоит и ждет чего-то, а поняв, что все словно присохли к своим местам и воды в рот набрали, раздражается смехом. Никому невдомек, чего он смеется; ничего же смешного. И смех у него не то что у того типчика из общественных связей, а раскатистый и громкий, расходящийся из широкого рта кругами, все дальше и дальше, пока не раскатится по всему отделению. Ничего общего со смехом того типчика. Этот смех настоящий. И я вдруг понимаю, что много лет уже не слышал, чтобы кто-то так смеялся.

Он стоит, смотрит на нас, покачиваясь на каблуках, и знай себе смеется. Пальцы сплел на животе, а большими зацепился за карманы. Вижу, какие у него здоровые и натруженные руки. Все в отделении – пациенты, персонал, все – вне себя от него и его смеха. Никто не пытается возразить ему или что-то сказать. Он смеется вдоволь, а потом входит в дневную палату. И даже когда он уже отсмеялся, смех все равно исходит от него волнами, как звон от большого колокола, только что отзвонившего, – смех у него в глазах, в улыбке и походке, во всех его словах.

– Меня Макмёрфи звать, братва, Р. П. Макмёрфи, и я слаб до картишек. – Подмигивает и говорит нараспев: – И как только увижу колоду карт... мои денежки... так и летят, – и опять смеется.

Подходит к картежникам, отклоняет толстым грубым пальцем веер одного острого, щурится на него и качает головой.

– Да, сэр, за этим я и пожаловал к вам в заведение, добавить вам, пташки, веселья за карточным столом. На работной ферме Пендлтона никого уже не осталось, кто бы скрашивал мне дни, вот я и запросил *перевода*, такие дела. Заскучал по новой крови. Ёксель, гляньте, как этот птиц держит карты, всей хате видать; блин! Да я вас буду стричь, как овечек.

Чезвик придвигает карты к себе. Рыжий протягивает Чезвику руку.

– Здорово, браток; во что играешь? Пинакл? Боже, еще бы ты заботился прятать карты. Нет у вас здесь нормальной колоды? Ну ладно, проехали, я свою захватил, если что, у меня тут кой-чего помимо фигурных карт – зацените картинки, а? Все разные. Пятьдесят две позы.

У Чезвика уже глаза на лоб полезли, и то, что он видит на этих картах, не способствует его душевному равновесию.

– Полегче, не трепите их; времени у нас полно, наиграемся вволю. Я за то, чтобы играть своей колодой, потому что другим игрокам нужно не меньше недели, чтобы начать видеть *масть*...

Одет он в грубые штаны и рубашку, выцветшие до разбавленного молока. Лицо, шея и руки у него загорели до кирпичного цвета от долгой работы в поле. Черная мотоциклетная кепка набекрень, через руку перекинута кожаная куртка, а башмаки серые, пыльные, да такие здоровые, что одним пинком можно угробить. Он отходит от Чезвика, снимает кепку и выбивает из штанов облако пыли. Один из черных хочет подобраться к нему с термометром, но все никак; рыжий затесался к острым и давай всем руки пожимать, а черный кружит вокруг. Речь, мимика, голос рыжего и весь кураж – все это мне напоминает торговца машинами или домашним скотом, или еще такого зазывалу, в полосатой рубашке с желтыми пуговицами, какие иногда на карнавале завлекают публику на помосте, со своими растяжками, полощущимися на ветру.

– Дело, собственно, какое: встрял я пару раз в разборки на рабочей ферме, если уж совсем начистоту, и суд постановил, что я психопат. А я что, думаете, буду с судом спорить? Еще чего, можете побиться об заклад, ни в коем разе. Если это вытасит меня с чертовых гороховых полей, я буду кем их душевненьке угодно, хоть психопатом, хоть бешеной собакой, хоть вурдалаком, потому что я не затоскую, если не увижу этих мотыг до самого смертного дня. А теперь мне говорят, психопат – это тот, кто дерется да ебется сверх меры, но тут они малость заблуждаются, как по-вашему? То есть где это слыхано, чтобы мужику было пилоток сверх меры? Привет, салага, как тебя зовут? Меня – Макмёрфи, и могу поставить два доллара, не сходя с места, что ты мне не скажешь, сколько очков у тебя на руках – не смотреть. Два доллара; по рукам? Ёлы-палы, Сэм! Не можешь полминутки не лезть ко мне с этим чертовым термометром?

3

Макмёрфи стоит и смотрит с минуту, изучая обстановку в дневной палате.

По одной стене пациенты помоложе – это острые, и их не спешат чинить – они борются на руках и занимаются карточными фокусами, где нужно добавлять и вычитать, высчитывая какую-нибудь карту. Билли Биббит учится сворачивать самокрутки, чтобы не хуже фабричных сигарет, а Мартини ходит туда-сюда и подбирает вещи из-под столов и стульев. Острые довольно много двигаются. Перешучиваются, хихикая в кулак (никто не смеет рассмеяться по-настоящему, а то набегут врачи с блокнотами и закидают вопросами), и пишут письма огрызками желтых карандашей.

Стучат друг на друга. Иногда кто-нибудь сболтнет про себя лишнего, а один из его приятелей зевнет, встанет из-за стола и бочком-бочком к журналу учета у сестринской будки, и запишет, что услышал, – в терапевтических интересах всего отделения, как говорит Старшая Сестра, но я-то знаю, что она просто собирает компромат, чтобы отправить кого-нибудь в первый корпус, на капремонт головного модуля.

Кто написал в журнал, тому ставят звездочку в таблице, и на завтра он может спать допоздна.

Вдоль стены напротив острых – выбраковка Комбината, хроники. Эти не затем в больнице, чтобы их чинили, а просто чтобы не шатались по улицам, позоря медицину. Персонал вынужден признать, что хроники здесь бессрочно. Хроники делятся на ходячих вроде меня, какие еще могут двигаться, если их кормить, а также колесных и овощей. Кто такие хроники – или большинство из нас – это машины с внутренними дефектами, не подлежащие ремонту, дефектами врожденными или приобретенными, когда кто-нибудь столько лет бился головой о твердые предметы, что к тому времени, как его доставили в больницу, подобрав на пустыре, у него от головы одно название осталось.

Но есть среди хроников и такие, с кем медицина перестаралась, такие, кого вначале записали в острые, а потом переделали. Эллис – хроник, бывший острым, которому здорово досталось, когда его забрали на перекалибровку в этот гнусный мозголомный кабинет, который черные ребята называют «шокоблоком». Теперь он пригвожден к стене в том виде, в каком его стащили со стола в последний раз, в той же позе, руки наружу, пальцы скрючены, с тем же ужасом на лице. Так и прибит к стене, точно чучело. Ему вынимают гвозди, когда пора его кормить или везти спать, и тогда я могу вытереть его лужу. На прежнем месте он простоял так долго, что ссаки проели пол и перекрытия под ним, и он постоянно проваливался в нижнее отделение, отчего персонал сбивался со счета.

Ракли тоже хроник, которого сперва, несколько лет назад, записали в острые, но ему устроили другую перекалибровку – напутали с головным монтажом. Он был сущим наказанием, носился повсюду, пинал черных ребят и кусал за ноги практиканток, вот его и забрали на починку. Привязали к этому столу и закрыли дверь, и какое-то время никто его больше не видел; перед тем как закрыть дверь, он подмигнул нам и сказал черным, которые его боялись: «Вы еще поплатитесь за это, *смоляные чучелки*».

Его вернули в отделение через две недели, лысым, с лиловым отеком лицом и парой махоньких шайбочек, вшитых над самыми бровями. По его глазам видно, как его выжгли изнутри; они у него мутные, серые и пустые, словно сторевшие предохранители. Он теперь целыми днями только и делает, что держит перед своим выгоревшим лицом старую фотокарточку, вертя ее холодными пальцами, и до того замусолил, что уже не поймешь, что там было.

Так вот, персонал считает Ракли своей неудачей, но я сомневаюсь, что ему было бы лучше даже с идеальным монтажом. В наши дни монтажи у них в основном успешные. Техники набрались навыков и опыта. Теперь уже никаких тебе шайбочек во лбу, кожу вообще не трогают –

проникают через глазницы. Бывает, уходит кто-нибудь на монтаж, вредный, буйный, злой на весь мир, а через несколько недель возвращается с синяками под глазами, словно после драки, и это милейшее, добрейшее, тишайшее создание. Через месяц-другой, глядишь, и домой выпишут, только шляпу натянут пониже, чтобы скрыть лицо лунатика, который видит на ходу простой, счастливый сон. В их понимании это успешный случай, а в моем – еще один робот из Комбината, и лучше бы ему не повезло, как Ракли, который сидит и пускает слюни над фотокарточкой. Больше он ничего не делает. Иногда его дразнит черный коротышка, наклоняясь вплотную и спрашивая: «Скажи-ка, Ракли, что там твоя женушка поделывает вечером?» Ракли поднимает голову. Память шуршит в его расстроенном механизме. Он краснеет, и вены у него вздуваются. Его так корежит, что слышно шипение в горле. На губах собирается пена, он скрежещет зубами, тужась что-то сказать. И наконец собирается с силами и хрипит так мучительно, что у тебя мурашки: «Хххххххуй ей! Хххххххуй ей!» – и отрубается от перенапряжения.

Эллис и Ракли моложе всех из хроников. А старше всех – полковник Маттерсон, старый колченогий кавалерист с Первой мировой, задирает юбки своей клюкой медсестрам или, когда находятся слушатели, читает лекции по истории, глядя себе в левую ладонь. Он самый старый в отделении, но он тут не дольше всех – жена привезла его всего несколько лет назад, когда решила, что больше не может за ним присматривать.

Дольше всех в отделении я – со Второй мировой войны. Никто тут столько не пробыл. Никто из пациентов. Только Старшая Сестра здесь дольше моего.

Хроники с острыми в основном не смешиваются. Каждый остается на своей стороне палаты, как его определили черные ребята. Черные говорят, так порядка больше, и всем дают понять, что им так сподручнее. Они приводят нас после завтрака, смотрят, как мы распределяемся, и кивают.

– Это пральна, дженльмены, так и надо. Так и оставайтесь.

Им вообще-то нет особой нужды что-то говорить, потому что хроники, кроме меня, считают что не двигаются, а острые говорят, они по-любому останутся на своей стороне, просто потому, что сторона хроников пахнет похуже грязных пеленок. Но я-то знаю, что не столько вонь удерживает их от хроников, как то, что им не нравится думать, что когда-нибудь они могут оказаться среди них. Старшей Сестре известен этот страх, и она знает, как поставить его себе на пользу; всякий раз, как кто-нибудь из острых захандрит, она говорит им, «чтобы вы, ребята, вели себя хорошо и придерживались больничного распорядка, разработанного для вашего же блага, а не то окажетесь на *той* стороне».

(Все в отделении гордятся тем, как пациенты сотрудничают с персоналом. У нас висит медная табличка на кленовой дощечке со словами: «ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ, ОБХОДЯЩЕЕСЯ НАИМЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРСОНАЛА». Это приз за сотрудничество. Висит на стене, над журналом учета, аккуратно посередине палаты, между хрониками и острыми.)

Этот новый, рыжий Макмёрфи, сразу смекает, что он не хроник. Понаблюдав нас всех с минуту, он решает, что ему место на стороне острых, и идет напрямик к ним, ухмыляясь и пожимая всем руки. Я сразу вижу, что им от этого не по себе, от его шутовства и бахвальства и такого наплевательства к санитару, который продолжает ходить за ним с термометром, а больше всего – от его вольного раскатистого смеха. От этого звука подрагивают стрелки на панели управления. Острым не по себе от его смеха, они стремятся, как школьники, когда один задиристый пацан слишком выделяется, стоит училке выйти из класса, и все боятся, что сейчас она откроет дверь, увидит это безобразие и оставит их после уроков. Они подрагивают и дергаются, как стрелки на панели управления; я вижу, Макмёрфи замечает, что им от него не по себе, но это его не останавливает.

– Черт, что за кислая у вас компашка. Как по мне, парни, не слишком-то вы звезданутые. – Он пытается расшевелить их, как аукционщик, сыплющий шутками в толпу, чтобы рас-

шевелить ее перед торгами. – Кто из вас смеет считать себя самым звезданутым? Кто тут главный псих? Кто картами заведует? У меня сегодня первый день, и мне чего бы хотелось, так это с порога произвести хорошее впечатление на крутого парня, если он мне докажет, что и вправду крутой. Кто тут у вас псих-пахан?

Он говорит все это непосредственно Билли Биббиту, склонившись над ним и сверля взглядом, и Билли вынужден пробормотать, что он не *пс-пс-пс-псих-пахан*, но *вт-вт-второй* в списке.

Макмёрфи сует Билли свою большую руку, и Билли ничего не остается, кроме как пожать ее.

– Ну, браток, – говорит он Билли, – я, честно, рад, что ты вт-второй в списке, но поскольку я думаю прибрать к рукам всю вашу шайку-лейку, мне бы лучше пообщаться с первым. – Он переводит взгляд туда, где несколько острых застыли над картами, обхватывает один кулак другим и хрустит костяшками. – Я, видишь ли, решил, браток, стать кем-то вроде карточного барона в этом отделении, взять под контроль азартную игру в очко. Так что веди-ка меня к вашему жожаку, и мы, не сходя с места, решим, кто тут босс.

Никто толком не поймет, прикалывается этот здоровяк со шрамом и дикой усмешкой или в самом деле настолько отшиблен, как хочет показать, а может, и то и другое, но все начинают заражаться его настроем. Они смотрят, как он кладет свою красную лапищу на тонкую руку Билли, и ждут, что тот скажет. Билли понимает, что за ним следующий ход, поэтому оглядывается на картежников и обращается к одному из них.

– Хардинг, – говорит Билли, – полагаю, это у н-н-нас ты. Ты же п-президиум совета пац-пац-пациентов. Этот ч-человек хочет говорить с тобой.

Теперь уже острые преодолели робость и усмеваются, довольные, что происходит нечто необычное. Они подкалывают Хардинга вопросом, он ли псих-пахан. Он откладывает карты.

Хардинг – щуплый, нервный тип с таким смазливим лицом, что всем кажется, будто они видели его в кино, до того он хорош собой для обычного парня с улицы. У него широкие худые плечи, и он в них заворачивается, когда хочет уйти в себя. А руки у него такие длинные, белые и элегантные, что кажутся гипсовыми слепками, и иногда начинают жить своей жизнью и парят перед ним парой белых птиц, пока он не спохватится и не спрячет их между коленями; не дают ему покоя его красивые руки.

Он президиум совета пациентов на том основании, что у него есть бумага об окончании колледжа. Она стоит в рамке на его тумбочке, рядом с фотографией женщины в купальнике, которая тоже выглядит так, словно сошла с экрана, – у нее большущие груди, и она чуть натягивает на них пальцами лифчик и косится в камеру. А позади нее сидит на полотенце Хардинг, такой тощий в купальнике, что кажется, сейчас какой-нибудь бугай сыпанет в него песком. Хардинг много чешет языком о том, какая у него шикарная жена, говорит, сексуальней женщины в мире нет, и что он по ночам удивляет ее.

Когда Билли обращается к нему, Хардинг откидывается на спинку стула и, приняв важный вид, говорит в потолок, не глядя ни на Билли, ни на Макмёрфи:

– А этот... джентльмен записан на прием, мистер Биббит?

– Вы записаны на прием, мистер Мак-мёрфи? Мистер Хардинг занятой человек, никого не п-принимает без записи.

– Этот занятой мистер Хардинг, он и есть псих-пахан? – Макмёрфи скосил на Билли один глаз, и Билли размашисто кивнул, тушуясь от всеобщего внимания. – Тогда скажи психу-пахану Хардингу, что его хочет видеть Р. П. Макмёрфи и что эта больница маловата для нас двоих. Я привык быть первым. Я был паханом-подрядчиком на всех лесозаготовках на Северо-Западе и паханом-игроком с самой Кореи³, побывал даже гороховым паханом на этой ферме

³ Имеется в виду так называемая Корейская война 1950–1953 гг.

в Пендлтоне, так что я смекаю, раз уж выпало мне быть психом, тогда буду самым что ни на есть первостатейным. Скажи этому Хардингу, что он либо сойдет со мной один на один, или он шакал паршивый и лучше ему свалить из города к закату.

Хардинг еще больше откинулся на спинку и зацепил лацканы большими пальцами.

– Биббит, скажи-ка этому молодому да раннему Макмёрфи, что я сойду с ним в главном холле ровно в полдень, и мы решим раз и навсегда, у кого из нас либидо либидозней. – Хардинг пытается говорить врасстяжку, подражая Макмёрфи, но с его высоким, задыхающимся голосом получается смешно. – Можешь также его предупредить, справедливости ради, что я уже без малого два года псих-пахан этого отделения и безумней меня нет никого на свете.

– Мистер Биббит, можешь предупредить этого мистера Хардинга, что я настолько безумен, что голосовал за Эйзенхауэра⁴.

– Биббит! Скажи-ка мистеру Макмёрфи, я настолько безумен, что голосовал за Эйзенхауэра *дважды!*

– А теперь скажи мистеру Хардингу, – Макмёрфи оперся о стол руками, пригнулся и понизил голос, – что я настолько безумен, что планирую голосовать за Эйзенхауэра снова, *в ноябре.*

– Снимаю шляпу, – говорит Хардинг, затем кивает, и они с Макмёрфи пожимают руки.

У меня нет никаких сомнений, что выиграл Макмёрфи, я только не могу понять, что именно.

Остальные острые бросают свои дела и подтягиваются к нему, посмотреть, что это за тип. Никого подобного к нам еще не заносило. Спрашивают, откуда он и чем занимается, чего я никогда еще не видел. Он говорит, у него призвание. Говорит, он был обычным бродягой, валандался по лесозаготовкам, пока в армию не забрали, а там он раскрыл свой талант; одних армия делает жуликами, других – лодырями, говорит он, а его сделала картежником. После армии он остепенился и посвятил себя всевозможным азартным играм. Ему хотелось всего-навсего играть в покер и жить холостяком где и как заблагорассудится.

– Но вы же знаете, – говорит он, – как общество преследует человека с призванием. Как только я в нем утвердился, меня столько раз сажали в разных городках, что я мог бы путеводитель написать. Послушать их, я заядлый бедокур. Типа лезу на рожон. Бля-а. Их не слышишь, когда я был тупым рабочим на лесозаготовках и лез на рожон; говорят, это *простоительно*, когда работяга выпускает пар, так они говорят. Но если ты игрок, если про тебя известно, что ты поигрываешь в подсобке, ты только сплунешь наискось – и уже матерый преступник. Ёксель, они прилично поистратились, катая меня между каталажками. – Он качает головой и надувает щеки. – Но это длилось недолго. Я научился осторожности. Сказать по правде, до этого случая в Пендлтоне я почти год не попадался. А тут прищучили за рукоприкладство. Видать, удар уже не тот; этот тип смог подняться с пола и вызвать копов раньше, чем я свалил из города. Крепышом оказался...

И всякий раз, как черный парень приближается к нему с термометром, он снова давай смеяться, пожимать руки и присаживаться, чтобы побороться на руках, пока не перознакомился со всеми острыми. А пожав руку последнему острому, он берет и переходит к хроникам, словно ему все едино. Не поймешь, правда он такой рубаха-парень или у него свой, шулерский расчет знакомиться с ребятами настолько поехавшими, что многие из них даже имен своих не знают.

Он подходит к Эллису, прибитому к стене, и жмет ему руку, словно он политик, участвующий в выборах, и голос Эллиса ему важен не меньше прочих.

⁴ Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890–1969) – 34-й президент США (1953–1961), известный, помимо прочего, поддержкой движения за гражданские права афроамериканцев.

– Браток, – говорит он Эллису с самым серьезным видом, – меня зовут Р. П. Макмёрфи, и мне не нравится видеть, как взрослый мужик плещется в своей водичке. Почему бы тебе не пойти просушиться?

Эллис опускает взгляд на лужу под ногами с выражением крайнего удивления.

– Ой, спасибо вам, – говорит он и даже делает шаг в сторону уборной, забыв, что рукава у него прибиты к стене.

Макмёрфи идет вдоль хроников и пожимает руки полковнику Маттерсону, Ракли и Старому Питу. Пожимает руки колесным, ходячим и овощам, пожимает даже руки, которые ему приходится поднимать с колен, точно мертвых птиц, заводных птиц, диковинных поделок из косточек и проводков, вышедших из строя и упавших. Пожимает руки всем подряд, кроме Большого Джорджа, водяного, который лыбится и отстраняется от этой негигиеничной руки, и Макмёрфи просто салютует ему и идет дальше, говоря своей правой руке:

– Рука, как, по-твоему, этот старикан узнал, сколько грехов на тебе?

Никому невдомек, к чему все это шоу и зачем ему знакомиться со всеми, но смотреть на него лучше, чем складывать мозаику. Он все говорит, это необходимо – освоиться и познакомиться со всеми, с кем он будет играть, такова обязанность игрока. Но он должен понимать, что не будет играть с восьмидесятилетним грибом, который единственное, что сможет сделать с картой, это сунуть ее в рот и пожевать вставными зубами. Однако ему, похоже, нравится валять дурака, словно он привык веселить людей.

Я – последний. Сижую, привязанный к стулу, в углу. Подойдя ко мне, Макмёрфи останавливается, снова сует большие пальцы в карманы, отклоняется и смеется, словно увидел что-то на редкость смешное. И вдруг меня охватывает страх, что он потому смеется, что понял: все это мое сидение с подтянутыми коленями, обхваченными руками, и взгляд, устремленный в одну точку, словно я глухой, – сплошное притворство.

– Ё-о-ксель, – сказал он, – смотрите-ка, что тут у нас.

Помню эту часть предельно четко. Помню, как он закрыл один глаз, отставил голову и засмеялся, глядя на меня поперек носа с подживавшим лиловым рубцом. Сперва я подумал, он смеется потому, что ему кажутся смешными индейское лицо и черные, маслянистые волосы у такого, как я. Подумал, может, он смеется моей слабости. А потом, помню, подумал, что он потому смеется, что не повелся на мое глухонемое притворство; несмотря на всю мою *хитрость*, он меня раскусил и подмигивает сквозь смех, давая это понять.

– А с тобой-то что, Большой Вождь? Ты точно Сидящий Бык⁵ на сидячей забастовке. – Он обернулся на острых и, увидев, что они хихикают его остроумию, снова повернулся ко мне и подмигнул: – Тебя как звать, Вождь?

– Его зовут Б-б-бромден, – сказал Билли с другого конца палаты. – Вождь Бромден. Хотя все зовут его Вождь Шв-Швабра, так как санитары почти все в-время велят ему подметать. Полагаю, больше он мало н-на что способен. Он глухой. – Билли обхватил подбородок руками. – Если бы я ог-глох, – он вздохнул, – я бы покончил с собой.

Макмёрфи не сводил с меня взгляда.

– А он приличных габаритов будет, как подрастет, а? Интересно, сколько в нем росту?

– Вроде кто-то когда-то нам-нам-мерил ему шесть футов семь⁶; но, пусть он и большой, собс-собст... своей тени боится. Просто большой гл-глухой индеец.

– Когда я увидел, как он тут сидит, подумал, что-то в нем есть от индейца. Но Бромден – имя не индейское. Из какого он племени?

– Не знаю, – сказал Билли. – Он был зд-здесь, когда я п-пришел.

⁵ Сидящий Бык (1831–1890) – вождь индейского племени хункпапа, возглавлявший сопротивление коренного населения вооруженным силам США.

⁶ 6 футов 7 дюймов = 2,6 м.

– У меня информация от врача, – сказал Хардинг, – что он только наполовину индеец, колумбийский индеец, полагаю. Это вымершее племя из ущелья в Колумбии. Врач сказал, его отец был предводителем племени, отсюда кличка этого малого, «Вождь». Что же до фамилии «Бромден», боюсь, мои знания индейских преданий не настолько обширны.

Макмёрфи опускает голову к моей, и мне приходится взглянуть ему в глаза.

– Это правда? Ты глухой, а, Вождь?

– Он г-глухонемой.

Макмёрфи надул губы и долго рассматривал мое лицо. Затем распрямился и протянул руку.

– Ну, какого черта, руку-то он может пожать? Глухой или какой. Ей-богу, Вождь, может, ты и большой, но руку мне пожми, не то сочту за оскорбление. А это не лучшая идея – оскорблять нового местного психа-пахана.

Сказав это, он снова оглянулся на Хардинга и Билли и скорчил рожу, все так же протягивая мне руку, большую, как тарелка.

Отлично помню, что это была за рука: под ногтями сажа от работы в гараже; на тыльной стороне наколот якорь; на средней костяшке грязный пластырь, отставший с краю. Остальные костяшки в порезах и ссадинах, давних и недавних. Помню ладонь, гладкую и твердую, разглаженную рукоятями мотыг и топоров, – не подумаешь, что ладонь картежника. И мозоли помню, все в трещинах, а в трещины въелась грязь. Дорожная карта его путешествий по всему Западу. Эта ладонь коснулась моей с отчетливым шорохом. Помню, как его пальцы, толстые и крепкие, сомкнулись на ней, и моя рука ощутила что-то странное и начала наливаться, как плод на ветке, словно Макмёрфи вливал в нее свою кровь. Моя рука загудела кровью и силой, стала почти такой же большой, как и его. Я помню...

– Мистер Макмёрри.

Это Старшая Сестра.

– Мистер Макмёрри, не могли бы вы подойти сюда, пожалуйста.

Это Старшая Сестра. Черный с термометром пошел и привел ее. Она стоит, постукивая термометром по наручным часам, и наводит, жужжа, свои окуляры на нового, пытаясь измерить его. А губы сложила сердечком, как у куклы, готовой принять игрушечный сосок.

– Санитар Уильямс говорит мне, мистер Макмёрри, что у вас какие-то сложности с тем, чтобы принять душ как положено. Это правда? Поймите, пожалуйста, я ценю, что вы решили наладить контакт с остальными пациентами отделения, но всему свое время, мистер Макмёрри. Извините, что прерываю вас и мистера Бромдена, но вы ведь понимаете: *все*... должны следовать правилам.

Он откидывает голову и смотрит на нее одним глазом, словно давая понять, что она сумела его одурачить не больше, чем я, что он ее раскусил. С минуту он смотрит на нее одним глазом.

– Знаете чего, мэ, – говорит он, – знаете чего... мне вот *эти самые* слова о правилах *всегда* кто-нибудь говорит, – он усмехается ей, они оба усмехаются друг другу, примериваясь, – как только почуют, что я вот-вот сделаю что-то прямо противоположное.

И выпускает мою руку.

4

В стеклянной будке Старшая Сестра вскрыла заграничную упаковку с ампулами и набирает в шприцы для подкожных инъекций молочную-зеленую жидкость. Одна из младших сестер, девушка с косоглазием – один глаз у нее всегда тревожно озирается через плечо, – берет небольшой поднос с набранными шприцами, но медлит перед выходом.

– Какое у вас, мисс Рэтчед, мнение об этом новом пациенте? То есть он, ух, обходительный и приветливый и все такое, но, по моему скромному мнению, он определенно *верховодит*. Старшая Сестра пробует иглу кончиком пальца.

– Боюсь, – она всаживает шприц в резиновый колпачок ампулы и набирает жидкость, – именно на это и нацелен новый пациент – верховодить. Для таких, как он, мисс Флинн, у нас есть определение: манипулятор. Это такой человек, который будет использовать все и всех для своих целей.

– О. Но чтобы в психбольнице? Какие у него могут быть цели?

– Самые разные. – Она деловито набирает шприцы со спокойной улыбкой. – Комфорт и легкая жизнь, к примеру; возможно, чувство власти и авторитета; денежная выгода; возможно, все это сразу. Иногда цель манипулятора – просто-напросто *разложение* отделения ради разложения. Есть такие люди в нашем обществе. Манипулятор может воздействовать на других пациентов и разложить их до такой степени, что могут уйти месяцы, чтобы вернуть все на круги своя. При современных шадящих порядках в психбольницах им легко такое сходит с рук. Еще не так давно все обстояло по-другому. Помню, несколько лет назад был у нас в отделении один такой мистер Тэйбер, вот уж *несносный* манипулятор. Недолго. – Она отводит взгляд от полунабранного шприца, который держит перед лицом, словно маленькую указку, и глаза ее заволакивает приятное воспоминание. – Мистур Тэй-бар, – говорит она.

– Но, божечки, – говорит другая сестра, – чего ради кому-то придет в голову заниматься чем-то вроде разложения отделения, мисс Рэтчед? Какой тут может быть мотив?..

Старшая Сестра осаживает младшую, снова всаживая иглу в резиновый колпачок ампулы, набирает шприц, выдергивает и кладет на поднос. Я смотрю, как ее рука тянется за новым пустым шприцем: тянется, висит над ним, опускается.

– Вы, похоже, забываете, *мисс* Флинн, что мы имеем дело с сумасшедшими.

Старшая Сестра выходит из себя всякий раз, как в ее хозяйстве возникает нарушение, не дающее ему действовать как отлаженная, смазанная, точная машина. Малейшая неполадка, сбой, помеха – и она завязывается в тугой белый улыбчивый узел ярости. Она расхаживает со своей обычной кукольной улыбкой, втиснутой между подбородком и носом, и с тем же ровным жужжанием окуляров, но внутри она тверда как сталь. Я это знаю, меня она не проведет. И она не расслабит ни единого волоса, пока не добьется, чтобы нарушителя привели, как она выражается, «в надлежащий порядок».

Под ее руководством внутренняя жизнь отделения почти всецело пребывает в надлежащем порядке. Но дело в том, что она не может постоянно находиться в отделении. Ей приходится проводить какое-то время во внешнем мире. Поэтому она старается приводить в порядок и внешний мир. Трудится рука об руку с другими, кого я называю «Комбинатом», и вместе они образуют огромную организацию, нацеленную на приведение в порядок внешнего мира, по образцу того, как она упорядочила внутренний мир отделения, став настоящим ветераном порядка. Она уже была Старшей Сестрой на прежнем месте, когда я пришел из внешнего мира, давным-давно, и к тому времени занималась наведением порядка бог знает сколько времени.

Я видел, как с годами у нее это получалось все лучше и лучше. Опыт укрепил и закалил ее, так что теперь она обрела настоящую власть, раскинув ее во все стороны по проводкам в

волос толщиной, слишком тонким для любого глаза, кроме моего; я вижу, как она восседает в центре этой проволочной сети, словно робот-паук, действуя с чуткостью механического насекомого, зная в любую секунду, какой проводок куда ведет и какой ток послать для нужных результатов. Я был помощником электрика в тренировочном лагере, пока армия не перебросила меня в Германию, и за год в колледже успел познакомиться с электроникой, поэтому знаю, как устроены эти штуки.

О чем она мечтает, восседая в центре этой сети, так это о мире предельной эффективности и точности, наподобие карманных часов в стеклянном корпусе; о таком месте, где распорядок, подчиненный ее лучам, нерушим, а все пациенты, отрезанные от внешнего мира, – это колесные хроники с катетерами, выходящими из-под штанов прямо в канализацию под полом. Год за годом она подбирала себе идеальный персонал: перед ней прошла целая вереница врачей, всех видов и возрастов, со своими идеями о том, как следует управлять отделением, и у кого-то хватало духу их отстаивать, но она изо дня в день облучала их своими ледяными окулярами, пока они не уволились с обморожением.

– Говорю вам, не знаю я, *в чем дело*, – жаловались они кадровику. – С тех пор как я работаю в этом отделении, с этой медсестрой, я чувствую, словно у меня по жилам течет аммиак. Меня бьет дрожь, мои дети не хотят садиться ко мне на колени, жена не хочет спать со мной. Я *настаиваю* на переводе – в неврологию, алкодром, педиатрию, мне *без разницы!*

Она занималась этим многие годы. Врачи держались, кто – три недели, кто – три месяца. И в итоге она остановила свой выбор на коротышке с большим широким лбом, широкими мясистыми щеками и тесно посаженными глазками, словно когда-то он носил слишком тугие очки, да так долго, что они стянули ему лицо, а теперь у него на лиловой переносице сидит пенсне на цепочке; оно у него то и дело сползает набекрень, поэтому он, разговаривая с кем-нибудь, наклоняет голову в нужную сторону. Вот это врач по ней.

Троих своих черных ребят она подбирала еще несколько лет, успев проверить и отсеять не одну тысячу. Они тянулись к ней долгой черной вереницей хмурых носатых масок, с первого взгляда проникаясь ненавистью к ней и ее кукольной белизне. Она присматривалась к ним с их ненавистью около месяца, после чего давала расчет, убедившись, что ненависти маловато. И наконец она оставила при себе троих, которые ее устроили – она их находила по одному за несколько лет и вплетала в свой план и свою сеть, – проникшись уверенностью, что они справятся со своими обязанностями, поскольку ненависти у них хватит.

Первый появился, когда я был в отделении шестой год, кривой жилистый гном из Джорджии⁷ цвета холодного асфальта. Когда ему было пять, он видел, как насиловали его мать, а папа стоял рядом, привязанный постромками к горячей печи, и кровь стекала ему в ботинки. Мальчик смотрел на это из кладовки, шурясь в щель между дверцей и косяком, и с тех пор не вырос ни на дюйм. Теперь он смотрит на мир из-под вечно приспущенных век, точно на переносице у него устроилась летучая мышь. Веки свои, тонкие и серые, он чуть приподнимает всякий раз, как приводят нового белого, окидывая его взглядом и кивая (как бы говоря: «О, да»), словно подтверждает какую-то свою догадку. Когда он только вышел на работу, он носил с собой носок с дробью, чтобы обрабатывать пациентов, но Старшая Сестра сказала ему, что так больше не принято, и заставила оставить носок дома, обучив собственному методу: не показывать ненависть, сохранять спокойствие и ждать, ждать какого-нибудь повода, легкой провинности, и уж тогда не давать спуску. И так все время. Вот как их надо обрабатывать, учила она.

Двое других черных ребят появились еще через два года, с интервалом примерно в месяц, и до того были похожи друг на друга, что я решил, она велела клонировать первого. Оба высокие, прямые и костистые, а на лицах высечено неизменное выражение, напоминающее наконецники стрел. Глаза – острия. Волосы точно железная щетка.

⁷ Джорджия – один из южных штатов США, известный конфликтами на расовой почве.

Все черные, как телефоны. Чем они чернее, как усвоила Старшая Сестра по долгому опыту с их предшественниками, тем с большим усердием будут драить, чистить и поддерживать порядок в отделении. К примеру, униформа на всех троих всегда белая как снег. Белая, холодная и жесткая, как и у нее.

Все трое носят накрахмаленные белоснежные штаны и белые рубашки с металлическими кнопками по боку, а также белые туфли, отполированные, словно лед, на красном каучуке. Они ходят по коридору без единого звука, возникая то здесь, то там всякий раз, как пациент решит побыть наедине с собой или шепнуть что-то товарищу. Только пациент решит, что он один и можно расслабиться, как вдруг услышит тихий хруст за спиной и почувствует щекой холод – глядь, а в воздухе висит холодная каменная маска. Он видит только черное лицо. Без тела. Стены такие же белые, как и форма санитаров, гладкая, точно холодильник, и в этой белизне парят призрачное черное лицо и руки.

За годы практики эти трое научились настраиваться на частоту Старшей Сестры. Один за другим они освоили умение отключаться от прямого провода и работать по лучу. Она никогда не дает им конкретных приказов и не оставляет письменных распоряжений, которые могут попасться на глаза чьей-нибудь жене или школьной учительнице. Ей это уже ни к чему. Она поддерживает контакт с санитарями на высоковольтной волне ненависти, и черные ребята спешат выполнять ее волю раньше, чем она подумает об этом.

Так что, как только Старшая Сестра набрала свою команду, отделение стало работать с точностью часового механизма. Все, что ребятам положено думать, говорить и делать, разрабатывается заранее, на месяцы вперед, на основании записок, которые изо дня в день пишет Старшая Сестра. Все это печатают и скармливают машине, гудящей за металлической дверью позади сестринской будки. Машина выдает им Карточки дневного распорядка (КДР), перфорированные квадратными дырочками. Каждый день начинается с того, что такую карточку с нужной датой вставляют в слот в стальной двери, и стены отвечают гудением: в шесть тридцать включается свет в палате – острые быстро встают с кроватей, и черные ребята выпроваживают их, раздавая поручения: натереть полы, вычистить пепельницы, оттереть со стены разводы, где накануне закоротило одного старика и он упал в корчах и дыму, воняя жженой резиной. Колесные спускают мертвые ноги-колоды на пол и ждут, словно статуи, пока им подгонят коляску. Овощи мочатся в кровать, отчего замыкается цепь и звенит звонок, черные ребята катят их в душевую, моют из шланга и одевают в чистое зеленое...

В шесть сорок пять гудят электробритвы, и острые выстраиваются перед зеркалами в алфавитном порядке: А, Б, В, Г... После всех острых заходят ходячие хроники вроде меня, а потом закатывают колесных. Под конец остаются трое стариков, с пленкой желтой плесени на шеях, которых бреют в шезлонгах, в дневной палате, закрепив им головы кожаными ремнями, чтобы не вертелись во время бритья.

Иногда по утрам – особенно по понедельникам – я прячусь, пытаюсь саботировать систему. В другие утра хитрость советует мне встать в очередь, на свое алфавитное место, между А и В, и двигаться со всеми, не отнимая ног от пола – под полом мощные магниты – и обтекаая персонал, как марионетки в игровых автоматах...

В семь открывается столовка, и очередь выстраивается в обратном порядке: сперва колесные, затем ходячие, а под конец берут подносы острые, набирают кукурузных хлопьев, яичницу с беконом, поджаренный хлеб; сегодня утром к тому же персики из консервов на зеленом латуке. Кто-то из острых разносит подносы колесным. Большинство колесных – те же хроники с больными ногами, питаются самостоятельно, но среди них есть трое, парализованных ниже шеи, да и выше толку от них немного. Это и есть овощи. Черные ребята вкатывают их после того, как все уже расселись, ставят у стены и приносят им подносы с диетическими карточками, уставленные одинаковой на вид мазней. «Машинное пюре», гласят диетические карточки для этой беззубой троицы: яйца, ветчина, хлеб, бекон – все пережевано тридцать два раза металли-

ческой машиной в кухне. Так и вижу, как эта машина поджимает свои секционные губы, словно шланг пылесоса, и сплевывает на тарелки сгустки пережеванной ветчины со звуком отрыжки.

Черные ребята суют ложки в беззубые рты слишком быстро, так что они не успевают глотать, и машинное пюре течет у них по подбородкам на зеленую форму. Черные ребята бра-нят овощей и раскрывают им рты пошире, крутанув ложкой, словно вычищают гнилушку из яблока:

– Ох уж этот старпер Бластик, он у меня на глазах разваливается. Я уже не знаю, жует он пюре из бекона или свой сраный язык...

В семь тридцать мы возвращаемся в дневную палату. Старшая Сестра смотрит на нас сквозь свое спецстекло, всегда отполированное так, что его и не видно, и, кивнув сама себе, отрывает лист календарика – на день ближе к цели. Она нажимает кнопку и запускает новый день. Слышу, где-то встряхивают большой жестяной лист. Каждый делает что кому положено. Острые: сидят на своей стороне палаты и ждут, пока им принесут карты и «Монополию». Хроники: сидят на своей стороне и ждут, пока им принесут мозаику в коробке от сигарет «Красный крест»⁸. Эллис: идет к своему месту у стены и поднимает руки, чтобы его пригвоздили, и мочится под себя. Пит: качает головой, как болванчик. Скэнлон: елозит узловатыми пальцами по столу, собирая воображаемую бомбу, чтобы разнести воображаемый мир. Хардинг: разглагольствует, помавая своими руками-птицами, а затем прячет их под мышки, потому что негоже взрослым так махать красивыми руками. Сифелт: ноет о больших зубах и выпадающих волосах. Все разом: вдыхают... и выдыхают... в идеальном порядке; все сердца стучат в унисон, согласно КДР. Слышно, как стройно работают поршни.

Как в мультяшном мире, где плоские фигурки, очерченные черным контуром, разыгрывают какую-то дурацкую историю, которая могла бы показаться смешной, не будь эти фигурки живыми людьми...

В семь сорок пять хроникам приклеивают катетеры – тем, кто готов это терпеть. Катетеры – это использованные презики со срезанным концом, натянутые на трубки, идущие из-под штанов в полиэтиленовые пакеты с надписью «ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ», которые я должен мыть каждый вечер. Черные ребята для надежности приклеивают презики изолентой; у старых катетерных хроников там давно все гладко, как у младенцев...

В восемь утра стены уже гудят вовсю. Репродуктор в потолке говорит голосом Старшей Сестры:

– Лекарства.

Мы смотрим на стеклянную будку, где она сидит, но она ничего не говорит в микрофон; она вообще в десяти футах от микрофона, показывает одной из младших сестер, как аккуратно собирать поднос с лекарствами, чтобы все лежало по порядку. Острые выстраиваются к стеклянной двери – А, Б, В, Г, за ними хроники, потом колесные (овощам дадут таблетки после всех, растертые в ложке яблочного пюре). Все подходят и получают таблетки в бумажном стаканчике – бросаешь таблетку в рот и протягиваешь стаканчик младшей сестре, чтобы она налила в него воду, и запиваешь. Изредка какой-нибудь дурень спросит, что это такое он должен глотать.

– Ну-ка, погодь, лапочка; что это за красные таблеточки с моей витаминкой?

Я его знаю. Большой такой, ворчливый острый, уже прославившийся возмутителем спокойствия.

– Просто лекарства, мистер Тэйбер, для вашей пользы. Ну же, примите.

– Но я в смысле, *что за* лекарства. Господи, я и сам вижу, что это таблетки...

– Просто проглотите их все, хорошо, мистер Тэйбер? Только ради меня.

⁸ Бесплатные сигареты, которые военные медсестры раздавали раненым солдатам.

Она бросает взгляд на Старшую Сестру, ища одобрения своей тактике умасливания, и снова смотрит на острого. Который все еще не готов проглотить неизвестно что, даже ради нее.

– Не хочу создавать проблемы, мисс. Но я также не хочу глотать не пойми что. Откуда мне знать, что это не одна из тех чудных пилюлек, от которых я стану не тем, кто я есть?

– Не переживайте, мистер Тэйбер...

– Переживать? Я всего лишь хочу *знать*, христареди...

Но тут незаметно подкралась Старшая Сестра и взяла его за локоть, парализовав до самого плеча.

– Все в порядке, мисс Флинн, – говорит она. – Если мистер Тэйбер решил вести себя как маленький, нам придется поступить с ним соответствующим образом. Мы пытались быть добрыми и деликатными. Видимо, зря. Враждебность, одна враждебность – вот чего мы добились. Можете идти, мистер Тэйбер, если не хотите принимать лекарства орально.

– Я всего лишь хотел *узнать*, Христа...

– Можете идти.

Она отпускает его руку, и он уходит, ворча, и слоняется перед уборной, гадая, что это за таблетки. Один раз я спрятал такую под язык и сделал вид, что проглотил, а потом вскрыл в чулане. За долю секунды перед тем, как она превратилась в белую пыль, я различил там микросхему, вроде тех, с какими имел дело в армии, в радарных частях: микроскопические проводки, электроды и транзисторы – из тех, что растворяются при контакте с воздухом...

В восемь двадцать выдают карты и мозаику...

В восемь двадцать пять один острый сболтнул, как подглядывал за сестрой в ванной; трое, сидевшие с ним за столом, встали и двинулись, толкаясь, к журналу учета...

В восемь тридцать открывается дверь в отделение, и вваливаются два техника, источая винные пары; техники всегда ходят быстро, чуть не бегом, потому что всегда чертят носом и должны двигаться, чтобы не упасть. Они всегда чертят носом и всегда пахнут так, словно стерилизовали свои инструменты в вине. Они вошли в лабораторию и прикрыли за собой дверь, но я мету неподалеку и различаю голоса сквозь зловещее *зззы-зззы-зззы*, словно точат ножи.

– Что у нас в этот безбожно ранний час?

– Надо вживить выключатель любопытства одному проныре. Она говорит, дело срочное, а я даже не уверен, есть ли у нас в запасе одна из этих хреновин.

– Может, придется звякнуть в Ай-Би-Эм, чтобы выцепить одну для нас; дай-ка схожу переспрошу на складе...

– Эй,хвати-ка бутылку того чистогана, раз уж пойдешь, а то я вообще ни хрена не вживлю – надо хлебнуть для разогрева. Ладно, какого черта, это лучше, чем работать в гараже...

Голоса напряженные, к тому же они и так тараторят, словно это не живые люди, а мультишки. Я отхожу подальше, чтобы не подумали, что грею уши.

Двое больших черных ловят Тэйбера в уборной и тащат в матрацную. Одного он пнул в голень. Орет как резаный. Поражаюсь, как он беспомощен в их руках, словно скован вороненой сталью.

Его валят на матрац лицом вниз. Один садится ему на голову, а другой стаскивает с него штаны и белье, оголяя филейную часть в обрамлении салатовой ткани. Он сдавленно ругается в матрац, а черный, который у него на голове, приговаривает:

– Так-точь, миста Тэйба, так-точь...

По коридору идет Старшая Сестра с банкой вазелина и большим шприцом, заходит в матрацную и на секунду закрывает дверь, затем выходит, обтирая шприц клочком штанов Тэйбера. Банку с вазелином оставила в матрацной. Пока один черный не успел закрыть за ней дверь, я вижу, как тот, что сидит у Тэйбера на голове, промакивает его салфеткой. Проходит

немало времени, прежде чем дверь открывается снова, и они несут его в лабораторию. Он уже раздет и обернут влажной простыней...

В девять часов приходят молодые практиканты – все с кожаными локтями – и пятьдесят минут расспрашивают острого, чем они занимались, когда были маленькими. Эти четкие ребята с аккуратными стрижками не внушают доверия Старшей Сестре, и она при них как на иголках. Пока они здесь, ее машина дает сбой, и она помечает у себя в блокноте с хмурым видом: не забыть проверить личные дела этих ребят на предмет нарушений ПДД и т. п.

В девять пятьдесят практиканты уходят, и машина снова гудит в обычном режиме. Старшая Сестра наблюдает дневную палату из стеклянной будки; сцена перед ней обретает прежнюю кристальную ясность, и пациенты снова напоминают смешных мультяшек.

Тэйбера выкатывают из лаборатории на каталке.

– Пришлось еще раз уколоть его, когда стал приходить в себя во время пункции, – говорят техники Старшей Сестре. – Что скажете, если мы его доставим в первый корпус и между делом приложим электрошоком – заодно барбитураты сэкономим?

– Думаю, это прекрасное предложение. Можете потом отвезти его на электроэнцефалографию и проверить голову – возможно, ему требуется операция на мозге.

Техники поспешно удаляются, увозя человека на каталке, словно мультяшки или марионетки, механические, как в одной серии «Панча и Джуди», где положено смеяться, когда марионетку лупит Черт и глотает с головы улыбчивый крокодил...

В десять приносят почту. Иногда в надорванных конвертах...

В десять тридцать приходят общественные связи с женским клубом. Этот типчик хлопает пухлыми ладошками у двери в дневную палату.

– Эгей, ребятки, здравствуйте; выше нос, выше нос... посмотрите, девушки; разве не чисто, не пригоже? Это все мисс Рэтчед. Я выбрал это отделение потому, что оно *ее*. Она, девушки, всем как мать. Не в смысле возраста, но вы меня понимаете...

Воротничок у общественных связей такой тугой, что душит его, когда он смеется, а смеется он почти все время (над чем, не знаю), таким высоким, быстрым смехом, словно хочет поскорее досмеяться и не может. Его круглая физиономия наливается красным, напоминая шарик с нарисованной рожницей. Лицо у него безволосое, да и голова почти такая же; похоже, он приклеил пару волосинок, но они постоянно отклеиваются и сыплются ему на рубашку, в карман и за воротник. Может, поэтому он застегивает его так туго, чтобы туда не сыпались последние волосы.

Может, поэтому он и смеется – не может ничего поделывать с волосами.

Он проводит эти туры с серьезными дамами в блейзерах, кивающими ему, когда он показывает, как все улучшилось за последнее время. Показывает им телевизор, большие кожаные кресла, гигиеничные питьевые фонтанчики; после чего они все идут в будку Старшей Сестры пить кофе. А бывает, он встанет один посреди дневной палаты, похлопает ладошками (такими влажными, что *слышно*), пока они не слипнутся, затем сложит их в молитвенном жесте под жирным подбородком и давай кружиться. Кружится и кружится посреди палаты, глядя дикими глазами на телевизор, новые картины на стенах, гигиеничный питьевой фонтанчик. И смеется.

Что он видит такого смешного, нам он никогда не говорит, а единственное, что я вижу смешного, это то, как он кружится на месте, словно кукла-неваляшка – раскрутишь такую, толкнешь, а она качнется и снова встанет ровно, потому что центр тяжести внизу. На наши лица он ни разу не взглянул...

В десять сорок, сорок пять, пятьдесят пациенты шаркают из палаты на процедуры – ЭШТ, ТТ или ФТ, или в стремные комнатки, где стены всегда разные, а полы неровные. Машины гудят будь здоров.

Все отделение гудит, как прядильная фабрика, на которой мне случилось побывать, когда школьная футбольная команда, где я играл, полетела на школьный чемпионат в Калифорнию.

Как-то раз, после хорошего сезона, нашим меценатам снесло крышу от гордости, и они оплатили нам перелет в Калифорнию, на игру в тамошнем школьном чемпионате. Когда мы туда прилетели, нас повезли посмотреть местную промышленность. Наш тренер любил всех убеждать, что спорт расширяет кругозор благодаря поездкам на соревнования, и в каждую поездку он гонял нас перед игрой, как стадо овец, то на маслостройку, то на свекольную ферму, то на консервную фабрику. А в Калифорнии это оказалась прядильная фабрика. Когда нас привезли туда, большинство ребят только глянули одним глазом и ушли обратно в автобус играть в карты на чемоданах, но я остался и встал в углу, чтобы не мешать молодым негритянкам бегать туда-сюда вдоль прядильных машин. Я почувствовал себя словно в полусне – так там все гудело, щелкало и стрекотало, и девушки сновали между машинами в каком-то чумовом порядке. Вот почему я остался, когда все ушли, а еще потому, что все это мне чем-то напомнило, как мужчины из нашего племени уезжали из поселка в последнее время работать на плотине, на камнедробилках. Этот одуряющий порядок, лица, одурманенные рутинной... Мне хотелось вернуться в автобус, к остальной команде, но я не мог.

Дело было в начале зимы, и я еще носил куртку – их подарили нашей команде в честь этого чемпионата, – красно-зеленую, с кожаными рукавами и вышитой на спине эмблемой в виде мяча, сообщавшей, какие мы молодцы, – и на нее поглядывали почти все негритянки. Я снял куртку, но они все равно на меня поглядывали. Я тогда был гораздо больше.

Одна из них отошла от станка, глянула туда-сюда по проходу – не видно ли бригадира – и подошла ко мне. Она спросила, будем ли мы играть с этой школой вечером, и сказала, что ее брат полузащитник в той команде. Мы стали болтать о футболе и всяком таком, и мне показалось, что ее лицо как-то размыто, словно между нами туман. А это просто в воздухе летало столько пуха.

Я сказал ей об этом. Сказал, что смотрю на ее лицо, словно туманным утром, как на утиной охоте, и она повела глазами и прыснула в кулак. А потом говорит:

– Ну, и что бы ты делал со мной вдвоем в таком экинском местечке, в засаде на уток?

Я сказал, что дал бы ей поддержать мое ружье, и все девушки на фабрике захихикали в кулаки. Я и сам не сдержал смеха от такого остроумия. Мы болтали и смеялись, и вдруг она взяла меня за запястья и прильнула всем телом. Ее лицо резко прояснилось, и я увидел, что она чем-то очень напугана.

– Давай, – прошептала она мне, – давай, забери меня, большой. С этой фабрики, с этого города, с этой жизни. Увези меня куда-нибудь, на охоту. Хоть *куда-нибудь*. А, большой?

Ее красивое лицо, темное и блестящее, было совсем близко. Я разинул рот и не знал, что сказать. Мы так стояли, вплотную, пару секунд, а потом прядильный станок зазвучал как-то странно, и она вернулась к своим обязанностям. Словно невидимый шнур утянул ее за красную цветастую юбку. Ее ногти царапнули меня по рукам, и лицо ее снова окутало облако пуха, размыв черты, сделав их мягкими и текучими, словно тающий шоколад. Она хохотнула и крутанулась, сверкнув желтой ногой из-под юбки. Мигнула мне через плечо и бегом к своей машине, где груды волокна сползала на пол; подхватив ее, она упорхнула по проходу и бросила волокно в приемник, а затем скрылась за углом.

Веретена крутились-вертелились, челноки металась, катушки арканили воздух, между побеленных стен и серо-стальных машин сновали туда-сюда девушки в цветастых юбках, и все пространство фабрики прошивали скользящие белые нити – все это врезалось мне в память, и бывает, что-нибудь в отделении нет-нет да и напомнит.

Да. Такие мои знания. Наше отделение – это фабрика Комбината. Здесь чинят то, что не починят ни соседи, ни школа, ни церковь – только клинике это под силу. Когда в общество возвращается готовый продукт, весь починенный, как новый, а то и *лучше* нового, Старшая Сестра не нарадуется; нечто, представшее перед ней покореженным, теперь функционирует как положено – предмет гордости ее команды, просто загляденье. Вот он шагает по земле лег-

кой походкой, с застывшей улыбкой, прекрасно вписываясь в уютный пригород, где как раз перекопали улицу для прокладки водопровода. А он смотрит на это и улыбается. Он наконец приведен в надлежащий порядок...

– Надо же, никогда еще не видела, чтобы кто-то так менялся, как Максвелл Тэйбер после больницы; небольшие синяки под глазами, похудел немного, но знаете что? Это *новый человек*. Боже, до чего дошла американская наука...

И свет у него в полуподвальном окошке горит за полночь, когда он склоняется над спящей женой, двумя дочками, четырех и шести лет, над соседом, с которым играет в боулинг по понедельникам, и вводит им дозу, ведь у него такие проворные пальцы, благодаря *элементам отсроченной реакции*, установленным техниками; он всех их приведет в надлежащий порядок, как привели его самого. Так это и распространяется.

Когда же у него истечет срок службы, согласно гарантии, город провожает его в последний путь с любовью, и в газете печатают его прошлогоднюю фотографию, на которой он помогает скаутам в День уборки кладбища, а его жена получает письмо от директора школы о том, как Максвелл Уилсон Тэйбер служил примером молодежи «нашего славного сообщества».

Даже бальзамировщики, известные крохоборы, растроганы.

– Ну вот, глянь на него: старый Макс Тэйбер, хороший был мальчик. Что скажешь, если мы уложим ему волосы дорогим воском и не возьмем наценки с его жены. Да ну, какого лешего, вообще бесплатно сделаем.

Такая успешная выписка неизменно радует Старшую Сестру, укрепляет авторитет ее команды и всей отрасли в целом. Все рады, когда кого-то выписывают.

Другое дело, когда принимают. Даже самые смирные новые требуют каких-никаких усилий, пока впишутся в систему, а кроме того, никогда не угадаешь, кто из них окажется *неподдающимся*, способным нарушить заведенный порядок, перевернуть все кверху тормашками и поставить под угрозу работу всего отделения. В каждом подобном случае Старшая Сестра, как я уже объяснял, выходит из себя.

5

Ближе к полудню снова пустили туман, но не на полную; не слишком плотный, но мне приходится серьезно напрягаться, чтобы что-то разглядеть. Через день-другой я перестану напрягаться и уйду в себя, затеряюсь в тумане, как другие хроники, но пока меня интересует этот новый – хочу посмотреть, как он будет держаться на групповой терапии.

Без десяти час туман совершенно рассеивается, и черные ребята говорят острым освободить пол для терапии. Все столы из дневной палаты несут по коридору в старую душевую.

– Очистим пол, – говорит Макмёрфи, как будто пришел на танцульки.

Старшая Сестра смотрит на все это из стеклянной будки. Она уже три часа сидит на одном месте, даже на обед не уходила. Дневную палату освобождают от столов, и в час из кабинета в конце коридора выходит врач и идет к нам, кивает Старшей Сестре за стеклом и садится в свое кресло, слева от двери. После него садятся пациенты, потом подтягиваются младшие сестры и практиканты. Когда все сели, Старшая Сестра встает, подходит к задней стене будки и включает автопилот на стальной панели с ручками и кнопками, чтобы машина работала без нее, после чего выходит в дневную палату с журналом учета и плетеным коробом с бумагами. Форма на ней, даже через полдня на рабочем месте, такая накрахмаленная, что нигде ни складочки; когда она садится, справа от двери, форма хрустит, словно замерзшая холстина.

Как только она села, старый Пит Банчини встает, покачиваясь, и заводит свою шарманку, качая головой и ною:

– Я устал. О-ох, господи. Ох, *как* я устал...

Он всегда так делает, когда в отделении появляется кто-то новый. Старшая Сестра шелестит бумагами и не смотрит на Пита.

– Кто-нибудь, сядьте рядом с мистером Банчини, – говорит она. – Уймите его, чтобы мы могли начать собрание.

К нему подходит Билли Биббит. Пит смотрит на Макмёрфи и качает головой из стороны в сторону, словно семафор. Он тридцать лет проработал на железной дороге; теперь он совсем вышел из строя, но все равно действует по инерции.

– Уста-а-ал я, – ноет он, жалобно глядя на Макмёрфи.

– Не переживай, Пит, – говорит Билли и кладет ему веснушчатую руку на колено.

– ...Ужасно устал...

– Знаю, Пит, – говорит Билли, похлопывая его по костлявому колену.

И Пит отводит лицо от Макмёрфи, поняв, что никто не станет выслушивать его жалобы. Старшая Сестра снимает наручные часы и, взглянув на настенные, подводит их и кладет на короб, чтобы видеть. Затем берет папку.

– Ну, перейдем к собранию?

Она обводит всех взглядом с застывшей улыбкой, убеждаясь, что никто не намерен мешать ей. Никто не смотрит на нее; все изучают свои ногти. Кроме Макмёрфи. Он уселся в кресло в углу, закинув ногу на ногу, и следит за каждым ее движением. Его рыжую шевелюру все так же венчает мотоциклетная кепка. На коленях у него лежит колода карт, и он поднимает ее одной рукой, шелестя на всю палату. Сестра на секунду задерживает на нем насмешливый взгляд. Все утро она следила, как он играл в покер, и, хотя она не видела денег, подозревала, что он не из тех, кто удовольствуется принятым в отделении правилом играть только на спички. Колода снова шелестит и неожиданно исчезает в его лапище.

Сестра снова смотрит на часы, вынимает из папки лист бумаги и, взглянув на него, возвращает в папку. Затем откладывает папку и берет журнал учета. Но тут принимается кашлять Эллис, который стоит у стены; сестра ждет, пока он затихнет.

– Итак. В конце пятничного собрания... мы обсуждали проблему мистера Хардинга... касательно его молодой жены. Он утверждал, что его жена одарена на редкость выдающимся бюстом и что это не дает ему покоя, поскольку она привлекает внимание других мужчин на улице. – Сестра листает журнал и читает в заложенных местах. – Согласно записям в журнале, оставленным разными пациентами, мистер Хардинг говорил, что она «дает до черта поводов пялиться этим ублюдкам». Также слышали, как он говорил, что сам мог давать ей повод искать сексуального внимания на стороне. Вот что он говорил: «Моя милейшая, но безграмотная женошечка считает, что любое слово или жест, не брызжущие мужланской брутальностью, это слово или жест хилого дендизма».

Она еще что-то читает молча и закрывает журнал.

– Он также утверждал, что иногда внушительный бюст жены вызывает у него чувство неполноценности. Что ж. Кто-нибудь желает коснуться этого предмета?

Хардинг закрывает глаза, и все молчат. Макмёрфи смотрит, не хочет ли кто высказаться, затем поднимает руку и шелкает пальцами, как школьник в классе; Сестра кивает ему.

– Мистер... э-э... Макмёрри?

– Чего там коснуться?

– Чего? Коснуться...

– Вы вроде спросили: «Кто-нибудь желает коснуться...»

– Коснуться... предмета, мистер Макмёрри, составляющего проблему мистера Хардинга с его женой.

– А. Я думал, вы имели в виду, коснуться ее... кое-чего.

– Так, что бы вы могли...

И она умолкает. Едва ли не сконфузившись. Кое-кто из острых украдкой усмехается, а Макмёрфи потягивается всем телом, зевает и подмигивает Хардингу. Тогда Сестра, само спокойствие, кладет журнал в короб и, взяв другую папку, открывает и читает:

– Макмёрри, Рэндел Патрик. Переведен властями штата из Пендлтонской исправительной сельскохозяйственной колонии. Для постановки диагноза и возможного лечения. Тридцати пяти лет. Женат не был. Крест «За боевые заслуги» в Корее за организацию побега из коммунистического лагеря для военнопленных. Впоследствии уволен с лишением прав и привилегий за нарушение субординации. После чего привлекался к ответственности за драки на улицах и в питейных заведениях, а также за пьянство, рукоприкладство, общественные беспорядки, неоднократное участие в азартных играх и один раз... за изнасилование.

– Изнасилование? – Врач оживает.

– Как установлено законом, девушки...

– Ну-ну, – говорит Макмёрфи врачу. – Этого они мне не пришили. Девчонка не стала давать показания.

– Девочке пятнадцать лет.

– Сказала, ей семнадцать, док, и очень хотела.

– Судебная медэкспертиза потерпевшей установила проникновение, неоднократное проникновение. В протоколе сказано...

– Так хотела, что я стал уже штаны зашивать.

– Девочка отказалась давать показания, несмотря на результаты экспертизы. Похоже, имело место запугивание. Обвиняемый покинул город вскоре после суда.

– Пришлось, ёлы-палы. Позвольте, скажу вам, док. – Он подается в сторону врача, упершись локтем в колено, и говорит полусшепотом: – Эта маленькая бестия меня бы в труху стерла к своим законным шестнадцати. Сама мне ножку подставляла и под меня ложилась.

Сестра закрывает папку и протягивает врачу с таким видом, словно там лежит сам пациент со всеми потрохами.

– Это наш новый, доктор Спайви, – говорит она. – Я думала ознакомить вас с его делом попозже, но поскольку он, похоже, настаивает на участии в групповой терапии, мы можем разделаться с ним прямо сейчас.

Врач выуживает из кармана пиджака пенсне на цепочке и водружает на нос. Пенсне чуть косит вправо, но врач наклоняет голову влево, выравнивая его. Он листает папку с легкой улыбкой, как и все, не оставшись равнодушным к откровенной манере Макмёрфи, но, как и все, сдерживает смех. Пролистав папку до конца, врач закрывает ее и убирает пенсне в карман. Затем переводит взгляд на пациента, который все так же сидит, подавшись к нему с другого края палаты.

– Вы... похоже... не наблюдались ранее у психиатра, мистер Макмёрри?

– Макмёрфи, док.

– Да? Но я думал... сестра говорила...

Он снова открывает папку, выуживает пенсне, всматривается в папку с минуту, снова закрывает, и убирает пенсне.

– Да. Макмёрфи. Это верно. Прошу прощения.

– Да, ничего, док. Это вон та дама начала, по ошибке. Я знавал людей с такой склонностью. У меня был этот, дядя, по фамилии Халлахан, и он как-то раз сошелся с женщиной, делавшей вид, что не может запомнить его фамилию, и называвшей его Хулиганом, чисто подразнить. Так продолжалось не один месяц, пока он ее не проучил. Хорошо так проучил.

– Да? И как же? – спрашивает врач.

Макмёрфи ухмыляется и чешет нос большим пальцем.

– Э-э, ну, этого я сказать не могу. Держу метод дяди Халлахана в строгом секрете – понимаете? На случай, вдруг самому пригодится.

Он говорит это, глядя на Сестру. Она в ответ улыбается ему, и он переводит взгляд на врача.

– Так что вы спрашивали о моей истории болезни, док?

– Да. Я интересовался, наблюдались ли вы ранее у психиатра. Может, как-то обследовались, находились в каких-то учреждениях?

– Ну, если считать тюрьги *как* государственного, *так и* окружного уровня...

– *Психиатрические* учреждения.

– А. Нет, если вы об этом. Это моя первая ходка. Но я *правда* псих, док. Клянусь. Там же... дайте покажу. Вроде бы тот врач на работной ферме... – Он встает, кладет колоду карт в карман куртки, идет через палату к врачу, склоняется у него над плечом и водит пальцем по бумаге в папке у него на коленях: – Вроде бы он написал кое-что, где-то тут, в самом конце...

– Да? Я пропустил. Секундочку.

Врач снова выуживает пенсне, надевает и смотрит, куда указывает Макмёрфи.

– Прямо тут, док. Сестра это выпустила, *суммируя* мой протокол. Где сказано: «У мистера Макмёрфи отмечаются *неоднократные*, – просто хочу убедиться, что меня правильно понимают, док, – *неоднократные* аффективные вспышки, позволяющие предположить диагноз психопатии». Он сказал мне, «психопат» значит, что я слишком дерусь и еб... пардон, дамы... что я, как он выразился, *невоздержан* в половых связях. Доктор, это правда так серьезно?

Он спрашивает с такой простодушной, почти детской озабоченностью на своем широком, загорелом лице, что врач поневоле склоняет голову и хихикает себе в воротник, а пенсне у него падает с носа прямехонько в карман. Теперь все острые улыбаются, и даже кое-кто из хроников.

– Я про эту невоздержанность, док. Вас когда-нибудь беспокоили с этим?

Врач промокнул глаза.

– Нет, мистер Макмёрфи, признаюсь, не беспокоили. Однако меня волнует другое – врач с работной фермы приписал вот что: «Не исключаю вероятности, что этот человек симулирует

психоз во избежание тягот работной фермы», – он поднял взгляд на Макмёрфи. – Что вы на это скажете, мистер Макмёрфи?

– Доктор. – Он встает в полный рост, морщит лоб и раскидывает руки, душа нараспашку перед всем миром. – Разве похож я на нормального?

Доктор из последних сил сдерживает смех, так что ответить ничего не может. Макмёрфи поворачивается к Старшей Сестре и спрашивает:

– *Похож?*

Вместо ответа она встает, забирает у доктора папку и кладет себе в короб, на котором лежат ее часы. И садится.

– Пожалуй, доктор, вам следует ознакомить мистера Макмёрри с правилами этих собраний.

– Мэм, – говорит Макмёрфи, – я рассказывал вам о моем дяде Халлахане и одной женщине, коверкавшей его фамилию?

Она долго смотрит на него, без улыбки. Она умеет сделать из своей улыбки любое выражение лица, смотря по тому, кто перед ней, но взгляд у нее всегда одинаковый – расчетливый и механический. Наконец она говорит:

– Прошу прощения, Мак-мёр-фи, – и поворачивается к доктору. – А теперь, доктор, могли бы вы объяснить...

Доктор складывает руки и откидывается на спинку.

– Да. Полагаю, именно это и нужно сделать – объяснить полную *теорию* нашей терапевтической группы, пока мы здесь. Хотя обычно я оставляю это на потом. Да. Хорошая идея, мисс Рэтчед, отличная идея.

– Конечно, нужна и теория, доктор, но что я имела в виду, так это правило, согласно которому пациенты остаются на своих местах в течение всего собрания.

– Да. Конечно. Тогда я объясню теорию. Мистер Макмёрфи, первым делом следует иметь в виду, что пациенты остаются на своих местах в течение всего собрания. Видите ли, это для нас единственный способ поддерживать порядок.

– Конечно, доктор. Я встал, только чтобы показать вам эти слова в моем формуляре.

Он идет к своему креслу, еще раз хорошенько потягивается и зевает, садится и ерзает, устраиваясь поудобнее. Устроившись, он выжидающе смотрит на врача.

– Что касается *теории*... – Врач делает глубокий, довольный вдох.

– Ххххуй ей, – говорит Ракли.

Макмёрфи прикрывает рот тыльной стороной ладони и спрашивает Ракли хриплым шепотом:

– Кому?

Тут же Мартини вскидывает голову и тарашится куда-то широко раскрытыми глазами.

– Ага, – говорит он, – кому? А. Ей? Ага, я ее вижу. *Ага*.

– Многое бы дал за такое зрение, – говорит Макмёрфи Мартини.

После этого он до конца собрания сидит молча. Сидит себе и смотрит, ничего не упуская из виду. Доктор излагает свою теорию, пока Старшая Сестра не решает, что уже хватит, и просит его закругляться, чтобы они вернулись к Хардингу, и оставшееся время они обсуждают Хардинга.

Макмёрфи раз-другой подается вперед, словно желая что-то сказать, но передумывает. На лице у него появляется озадаченное выражение. Он понимает, что здесь творится что-то неладное. Только не поймет пока, что именно. Например, почему никто не смеется. Он-то был уверен, что другие засмеются, когда он спросил Ракли «Кому?», но ничего подобного. Стены давят на людей, не до смеха. Что-то неладно в таком месте, где взрослые люди не позволяют себе расслабиться и рассмеяться, что-то неладное в том, как все они покоряются этой улыбчивой мамаше с напудренным лицом, слишком красными губами и слишком большими грудями.

И он решает, что подождет и посмотрит, в чем тут дело, перед тем как вступать в игру. Это правило опытного шулера: сперва к игре присмотришься, потом за карты берись.

Я столько раз слышал эту теорию терапевтической группы, что могу пересказать хоть задом наперед – о том, что ты должен научиться быть в группе, прежде чем сможешь функционировать в нормальном обществе; что группа может помочь тебе, показав, что с тобой не так; что общество решает, кто в своем уме, а кто – нет, и ты должен равняться на это. Вся эта бодяга. Каждый раз как в отделении появляется новый пациент, врач грузит нас этой теорией до посинения; это едва ли не единственная возможность для него показать, что он главный и сам ведет собрание. Он говорит, что цель терапевтической группы – установление демократии в отделении, чтобы всё определяли сами пациенты своими голосами, стремясь стать достойными гражданами и вернуться к нормальной жизни. Во внешний мир, на улицу. Любую обиду, любое недовольство, все, что вас не устраивает, говорит он, нужно выносить на групповое обсуждение, а не гноить в себе. Кроме того, вы должны чувствовать себя в группе настолько легко, чтобы открыто обсуждать психологические проблемы перед другими пациентами и персоналом. Общайтесь, говорит он, обсуждайте, признавайтесь. А если услышите в повседневном общении, как друг сказал что-то, запишите это в журнал учета для сведения персонала. Это не то, что в фильмах называют «настучать», это помощь ближнему. Выносите эти грехи на свет, чтобы их омыло общее внимание. И участвуйте в *групповых обсуждениях*. Помогайте себе и друзьям раскрыть секреты подсознания. Между друзьями не должно быть секретов.

Под конец он обычно говорит, что наше намерение – максимально уподобить эту группу свободному обществу, создать такой внутренний мирок, представляющий уменьшенную модель большого, внешнего мира, в котором однажды мы снова займем свое место.

Может, он бы сказал что-то еще, но на этом Старшая Сестра его обычно затыкает, и тогда как по команде встает старый Пит, качая своей головой, похожей на мятый чайник, и сообщает всем, как он устал, и Сестра говорит, чтобы кто-нибудь заткнул и его и можно было продолжать собрание, и обычно Пита затыкают, и собрание продолжается.

Но один раз, всего раз на моей памяти, года четыре-пять назад, все пошло не так. Врач закончил свое выступление, и Сестра тут же сказала:

– Ну, кто начнет? Выкладывайте ваши старые секреты.

Все острые словно впали в ступор от этих ее слов, и за двадцать минут никто не проронил ни слова, так что она просидела все это время, как заведенный будильник, ожидая чьих-то признаний. Ее взгляд перемещался с одного лица на другое как луч прожектора. Двадцать долгих минут дневную палату сжимали тиски тишины, и все пациенты сидели, не шевелясь. Через двадцать минут Сестра взглянула на свои часы и сказала:

– Следует ли мне считать, что среди вас нет никого, кто совершил бы некий поступок, в котором никогда не признавался? – Она достала из короба журнал учета. – Не обратиться ли нам к анамнезу?

И тут что-то сработало, какое-то акустическое устройство в стенах включилось от сказанных ею слов. Острые напряглись. У всех разом открылись рты. Ищущий взгляд Старшей Сестры остановился на первом человеке у стены.

И он отчеканил:

– Я ограбил кассу в автосервисе.

Сестра перевела взгляд на следующего.

– Я пытался переспать с сестренкой.

Она переключилась на следующего; каждый подскакивал, точно пораженная мишень.

– Я... один раз... хотел переспать с братом.

– Я убил мою кошку в шесть лет. О, боже, прости меня, я забил ее камнем и сказал, это сделал сосед.

– Я солгал, что пытался. Я переспал с сестрой!

– И я тоже! Я тоже!

– И я! И я!

Она о таком и не мечтала. Они все кричали наперебой, забираясь все дальше и дальше, совсем потеряв тормоза, и такое говорили, что потом не смели посмотреть в глаза друг другу. Сестра кивала каждому из них и повторяла:

– Да, да, да.

И вдруг встал старый Пит.

– *Я устал!* – воскликнул он, да таким сильным и сердитым голосом, какого от него никто не слышал.

Все заткнулись. Он их словно пристыдил. Словно высказал некую правду, нечто истинное и важное, заставив их устыдиться своей детской болтливости. Старшая Сестра ужасно разозлилась. Она метнула на него гневный взгляд, и улыбка стекла у нее по подбородку; ведь все шло лучше некуда.

– Кто-нибудь, займитесь бедным мистером Банчини, – сказала она.

Встали двое-трое. Они попытались успокоить его, хлопая по плечам. Но Пит не собирался успокаиваться.

– Устал! Устал! – твердил он.

В итоге Сестра велела одному черному вывести его из палаты. Она забыла, что черные ребята таким, как Пит, не указ.

Пит всю жизнь был хроником. Несмотря на то что в больницу попал, разменяв шестой десяток, он такой с рождения. У него на голове две большие вмятины, по одной с каждой стороны, – это врач, извлекавший его из материнской утробы, промял ему череп щипцами. Пит, как только выглянул оттуда, увидел родильную палату со всеми прибабасами, понял, куда его рожают, и уперся всем, чем только мог, решив, что нечего ему тут делать. Тогда врач, недолго думая, взял щипцы для льда, схватил его за голову и вытащил. Но голова у Пита была совсем новенькая, мягкая, как глина, и когда затвердела, вмятины остались. От этого он стал тупым, так что ему приходилось прилагать невероятные усилия, из кожи вон лезть, чтобы выполнять задания, с которыми шутя справится шестилетний.

Но нет худа без добра – такая тупость сделала его неуязвимым для штучек Комбината. Такого, как он, не оболванишь. В общем, ему дали тупую работу на железной дороге, где все, что от него требовалось, это сидеть в хижине, на дальней стрелке, у черта на рогах, и махать поездам фонарями: красным, если стрелка в одну сторону, зеленым, если в другую, или желтым, если впереди еще один поезд. Так он и делал, прилагая всю свою смекалку, какой никто у него не мог отобрать, один-одинешенек, на этой стрелке. И никто ему не вживлял никаких выключателей.

Так что черным было с ним не сладить. Но тот черный не подумал об этом, как и сестра, когда велела вывести Пита из дневной палаты. Черный подошел к нему и дернул за руку в сторону двери, словно осла за поводья.

– Знач-так, Пит. Пошли в спальню. Шоп не мешал.

Пит сбросил его руку.

– *Я устал*, – предупредил он.

– Ну жа, старик, ты шумишь. Пошли в кроватку, шоп не шуметь, и будь пайныка.

– Устал...

– Я сказал, ты идешь в спальню, старик!

Черный снова дернул его за руку, и Пит перестал качать головой. Он встал прямо и твердо, и глаза у него прояснились. Обычно глаза у Пита полуприкрыты и мутные, словно молоком залиты, но тут стали ясными, как лампы дневного света. И рука, за которую его черный держал, начала разбухать. Персонал и большинство пациентов разговаривали между собой, не

обращая внимания на этого старика с его старой шарманкой о том, как он устал, рассчитывая, что его утихомирят, как обычно, и собрание продолжится. Они не видели, как его ладонь сжималась и разжималась, становясь все больше и больше. Только я это видел. Как его разбухшая ладонь, прямо на моих глазах, сжалась в кулак, гладкий и твердый. Большой стальной шар на цепи. Я смотрел на него и ждал, а черный снова дернул Пита за руку в сторону двери.

– Я сказал, старик, тебе надо...

Он увидел руку. И попытался отойти, сказав: «Хороший мальчик, Питер», – но чуть не успел. Железный шар взвился от самого колена. Черный отлетел к стене и съехал на пол, как по маслу. Я услышал, как в стене полопались трубы, и штукатурка потрескалась прямо по форме тела.

Двое других – мелкий и большой – остолбенели. Сестра щелкнула пальцами, и они зашевелились. Одно мгновение, и они уже встали в стойку. Мелкий позади большого, точно уменьшенная копия. В двух шагах от Пита их осенило, в отличие от первого черного, что Пит не заточен под систему, как все мы, а потому не станет делать что-то только потому, что ему велют или дернут за руку. Если они собрались его взять, им придется брать его, как дикого медведя или буйвола, а когда один из них в отключке, им вдвоем придется нелегко.

Они одновременно подумали об этом и замерли, большой и его мини-копия, в той же самой позе: левая нога вперед, правая рука отставлена, на полпути между Питом и Старшей Сестрой. Впереди раскачивается железный шар, позади стоит белоснежная фурия. Черных закоротило, они задымились, и я услышал, как заскрипели их шестеренки. Они затряслись от беспомощности, словно машины, которым дали полный газ, не отпустив тормоза.

Пит стоял, как на арене, покачивая свой шар, весь накренившись от его веса. Все теперь смотрели на него. Он перевел взгляд с большого черного на мелкого и, поняв, что они не собираются приближаться, повернулся к пациентам.

– Поймите вы... это полная херня, – сказал он нам, – это все полная херня.

Старшая Сестра соскользнула с кресла и стала красться к своей плетеной сумке, стоявшей у двери.

– Да, да, мистер Банчини, – блеяла она, – только успокойтесь...

– Больше ничего, просто полная херня. – Голос его утратил прежнюю силу, стал сдавленным и торопливым, словно время его было на исходе. – Поймите, я-то другим не буду, не могу – разве не видите? Я родился мертвым. Не как вы. Вы родились не мертвыми. А-а-ай, как же тяжело...

Он заплакал. У него не получалось выговаривать слова; он открывал рот, силясь что-то сказать, и не мог. Он потряс головой, проясняя мысли, и заморгал на острых:

– А-а-ай, я... вам... говорю... говорю *вам*.

И снова стал крениться, а кулак его опять превратился в железный шар. Он воздел его перед собой, словно предлагая нам всем некий дар.

– Я другим не буду. Родился недоношенный. Меня столько обижали, что я умер. Я родился мертвым. И другим не буду. Я устал. Сдался пытаться. А вы можете. Меня столько обижали, что родился мертвым. А вам легче. Я родился мертвым, и жизнь меня была. Я устал. Устал говорить и стоять. Я пейсят пять лет уже *мертвый*.

Старшая Сестра уколола его сзади прямо сквозь штаны. И отскочила, не вытащив шприца, торчавшего из зеленых штанов, как механический хвостик, а старый Пит кренился все дальше – не от укола, а от усилий; эта пара минут совершенно выжала его, раз и навсегда – одного взгляда было достаточно, чтобы понять: с ним все кончено.

Так что колоть его было ни к чему; голова у него снова закачалась, а глаза помутнели. Когда Сестра приблизилась к нему сзади и вытащила шприц, он уже до того накренился, что слезы капали прямо на пол, разлетаясь во все стороны от его качавшейся головы, равномерно забрызгивая пол дневной палаты, словно он сеял семена.

– А-а-а-ай, – сказал он.

Сестра вытащила шприц, но он не шелохнулся. Он вернулся к жизни на какую-нибудь минуту, чтобы сказать нам что-то, но нам было не до того, не хотелось думать, а его это истощило. Тот укол был лишним, все равно что мертвого колоть – ни сердца, чтобы качать кровь, ни вен, чтобы нести яд к голове, ни мозга, чтобы одурманивать его. С таким же успехом Сестра могла колоть высохший труп.

– Я... устал...

– Что ж, ребята, – сказала она санитарам. – Думаю, если вы наберетесь *храбрости*, мистер Банчини пойдет спать, как послушный человек.

– ...Ужа-а-асно устал.

– А санитар Уильямс приходит в себя, доктор Спайви. Позаботьтесь о нем, хорошо? Вот. У него часы разбиты и рука порезана.

Больше Пит ничего такого не выкидывал, и уже не выкинет. Теперь, когда он начинает чудить во время собрания и его затыкают, он всегда затыкается. Он все еще иногда встает, качая головой, и докладывает нам, как он устал, но это не жалоба, не оправдание и не предупреждение – с этим покончено; он словно старые ходики, давно вышедшие из строя, но все еще идущие, без цифр на циферблате, с гнутыми стрелками и нерабочим будильником, – старые, никчемные ходики, которые тикают и иногда выпускают кукушку.

В два часа, когда пора заканчивать собрание, группа всюю дрючит бедного Хардинга.

Врач начинает ерзать на своем кресле. Ему неудобно на этих собраниях, если он не разглагольствует о своей теории; он бы лучше провел это время у себя в кабинете, чертя графики. Устав ерзать, он кряхтит, и Сестра смотрит на свои часы и говорит нам, что мы можем нести столы обратно, а завтра в час продолжим обсуждение. Острые выходят из оцепенения и бросают украдкой взгляды на Хардинга. Лица у них горят со стыда, словно они только что поняли, что их опять развели. Кто-то идет по коридору в старую душевую, за столами, кто-то подходит к журнальным стойкам и с увлеченным видом листает старые номера «Макколл⁹», но так или иначе все избегают Хардинга. Их снова одурачили, заставив распекать одного из своих друзей, словно он преступник, а они судьи, прокуроры и присяжные. Сорок пять минут они его дрючили почем зря, словно получали удовольствие, забрасывая его вопросами: что с ним, как он *считает*, не так, если он не может удовлетворить свою благоверную; почему он *уверен*, что у нее никогда ничего не было с другим мужчиной; как он рассчитывает вылечиться, если не будет отвечать *честно*? – вопросы и намеки, от которых им теперь не по себе, и им хочется оказаться как можно дальше от Хардинга.

Макмёрфи наблюдает за всем этим. Вставать не спешит. Он снова озадачен. Сидит в кресле и смотрит на острых, поглаживая колодой карт рыжую щетину у себя на подбородке, затем наконец встает, зеваает, потягивается и, почесав живот уголком колоды, убирает ее в карман и подходит к Хардингу, одиноко потеющему на стуле.

Макмёрфи с минуту смотрит на Хардинга, затем берет своей лапищей соседний стул за спинку, поворачивает задом наперед и садится верхом, словно на пони. Хардинг весь в себе. Макмёрфи хлопает себя по карману, ища сигареты, находит, берет одну и закуривает; держит перед собой и хмурится на кончик, слюнявит большой и указательный пальцы и подравнивает огонек.

Все как будто не замечают друг друга. Не уверен даже, заметил ли Хардинг Макмёрфи. Он почти весь завернулся в свои худые плечи, как в зеленые крылья, спрятав руки между коленями, и сидит на краешке стула, прямой как жердь. Уставился в пустоту и тихонько что-то

⁹ «McCall's» – ежемесячный американский журнал для домохозяек.

напевает, стараясь казаться спокойным, а сам жуёт щеки, весь на нервах, отчего кажется, будто череп усмехается.

Макмёрфи сует сигарету в рот, складывает руки на спинке стула и опускает на них подбородок, щурясь одним глазом от дыма. Другим глазом он смотрит какое-то время на Хардинга, а затем начинает говорить, с сигаретой, пляшущей во рту:

– Что ж, браток, *так* эти ваши собрания обычно проходят?

– Проходят?

Хардинг перестал напевать и жевать щеки, но все так же смотрит перед собой, мимо Макмёрфи.

– Такая у вас процедура для этой групповой терапии? Как в куриной стае, почуявшей кровь?

Хардинг встряхивает головой, и его взгляд фокусируется на Макмёрфи, словно он только сейчас заметил, что рядом с ним кто-то сидит. Он кусает себе щеки, и лицо у него проминается посередине, словно бы он ухмылялся. Он разворачивает плечи и откидывается на спинку, пытаясь казаться спокойным.

– Почуявшей кровь? Боюсь, ваш чудной заштатный говор мне неясен, друг мой. Не имею ни малейшего понятия, о чем это вы.

– Ну что ж, тогда я объясню. – Макмёрфи повышает голос; он не смотрит на других острых, но говорит для них, и они его слушают. – Стая замечает пятнышко крови на одной курице и давай ее *клевать*, понял? Пока совсем не заклюют, до кровавого месива. Но в процессе обычно кровь попадает еще на *курицу-другую*, и тогда принимаются за них. И снова на кого-то попадает кровь, и их тоже клюют до смерти, и еще, и еще. Да, браток, куриное побоище может прикончить всю стаю за пару часов. Я такое видел. Кошмарное зрелище. Единственный способ прекратить это – с курами – надеть им наглазники. Чтобы не видели.

Хардинг сплетает длинные пальцы на колене и подтягивает его к себе, откинувшись на спинку.

– Куриное побоище. Ничего не скажешь, приятная аналогия, друг мой.

– И именно это мне напомнило ваше собрание, на котором я сидел, браток, если хочешь знать грязную правду. Вы напомнили мне стаю грязных кур.

– Значит, по-вашему, друг, я курица с пятнышком крови?

– Именно так, браток.

Они все еще ухмыляются друг другу, но голоса их стали такими тихими и напряженными, что мне приходится подойти к ним поближе со шваброй, чтобы расслышать. Другие острые тоже придвинулись поближе.

– А хочешь, еще кое-что скажу, браток? Хочешь знать, кто первым начал тебя клевать? – Хардинг ждет, что он скажет. – Да эта старая сестра, вот кто.

В тишине раздается боязливый гомон. Мне слышно, как машины в стенах замерли и загудели дальше. Хардинг отчаянно старается казаться спокойным и не махать руками.

– Значит, – говорит он, – все вот так просто, до полного идиотизма. Вы у нас в отделении шесть часов и уже упростили всю работу Фрейда, Юнга и Максвелла Джонса, сведя ее к одной аналогии – куриному побоищу.

– Я не говорю о Фреде Юнге и Максвелле Джонсе, браток. Я только говорю об этом паршивом собрании и о том, как эта сестра с остальными засранцами обращались с тобой. Наклали тебе по полной.

– *Наклали*? Мне?

– Именно так, *наклали*. От души наклали. И в хвост и в гриву. Ты, наверно, умудрился нажить себе здесь врагов, браток, потому что выглядело это так, словно ты им враг.

– Ну, это просто поразительно. Вы совершенно ничего не поняли, совершенно проглядели и не поняли, что все это было для моей же пользы. Что любой вопрос или тема, поднима-

емые мисс Рэтчед или кем-нибудь из персонала, служат единственно терапевтическим целям. Вы, наверно, ни слова не слышали из теории доктора Спайви о терапевтической группе, или у вас не хватило образования или ума, чтобы понять это. Я разочарован в вас, друг мой, ох как разочарован. А я-то думал, вы умнее, исходя из нашего утреннего общения, – может, безграмотны, этакий заштатный фанфарон с паханскими замашками, однако не лишены ума. Но при всей моей обычной наблюдательности и проницательности и мне случается ошибаться.

– Да ну тебя к черту, браток.

– Ах да, забыл добавить, что я также отметил утром вашу примитивную брутальность. Психопат с явными садистскими наклонностями, возможно, движимый безосновательной эгоманией. Да. Как видите, эти природные таланты определенно делают вас компетентным терапевтом и позволяют взвешенно критиковать собрания мисс Рэтчед, невзирая на то обстоятельство, что она весьма авторитетная медсестра психиатрического профиля с двадцатилетним опытом работы. Да, с вашими талантами, друг мой, вы можете творить чудеса с подсознанием, утешать болящее Оно и исцелять поломанное Сверх-Я. Вы, наверно, могли бы добиться выздоровления всего отделения, овощей и прочих, за каких-нибудь полгода, леди и джентльмены, или мы вернем вам деньги.

Но Макмёрфи, вместо того чтобы спорить с Хардингом, просто смотрит на него, а потом спрашивает ровным голосом:

– А ты, значит, думаешь, что эта хренотень, которой вы сейчас занимались, приносит кому-то выздоровление, какую-то пользу?

– А зачем бы еще мы следовали этой процедуре, друг мой? Персонал жаждет нашего выздоровления не меньше нас самих. Они не чудовища. Пусть мисс Рэтчед строгая дама не первой молодости, но она не какая-то чудовищная великанша из секты птицеводов, садистски обожающая выклеивать нам глаза. Вы ведь не думаете так о ней?

– Нет, браток. Она вам не глаза выклеивает. А кое-что другое.

Хардинг вздрагивает, и я вижу, как его руки начинают выбираться из межножья, словно белые пауки из-под замшелых корневищ, и ползут вверх по стволу.

– Не глаза? – говорит он. – Бога ради, куда же тогда мисс Рэтчед клюет нас, мой друг?

Макмёрфи усмехается.

– Что, неужели *не ясно*, браток?

– Нет, конечно, неясно! То есть, если вы наста...

– Да в яйца, браток, в ваши драгоценные *яички*.

Пауки доползли до ствола, остановились и заплясали. Хардинг тоже пытается усмехнуться, но лицо и губы у него так побелели, что все без толку. Он уставился на Макмёрфи. Макмёрфи вынимает изо рта сигарету и повторяет сказанное:

– В самые яйца. Нет, эта сестра не какая-то страшная курица, браток, она – яйцerezка, не иначе. Видал я таких без числа, старых и молодых, мужиков и баб. Видал по всей стране, в любых домах – таких, кто пытается ослабить тебя, чтобы ты у них ходил по струнке, играл по их правилам, жил как они хотят. А самый верный способ этого добиться, заставить тебя подчиниться – это ослабить тебя, ударив туда, где больше всего. Тебя когда-нибудь били коленом по яйцам, браток? Сразу отрубашься, а? Ничего нет хуже. Тебя мутит, вся сила, какая в тебе есть, уходит. Если ты схватился с кем-то, кто хочет выиграть за счет твоей слабости, а не своей силы, следи за его коленом – он будет целить тебе именно туда. И эта старая стервятница делает то же самое – целит вам именно туда.

В лице у Хардинга все еще ни кровинки, но руками он овладел и всплескивает ими перед собой, пытаясь отмахнуться от того, что сказал Макмёрфи:

– Наша дорогая мисс Рэтчед? Наша милая, улыбочивая мать Рэтчед, нежный ангел милосердия – яйцerezка? Ну, друг мой, это *совершенно* немислимо.

– Не надо, браток, мне пудрить мозги про добрую мамочку. Может, она и мать, но здоровая, как ангар, и твердая, как вороненая сталь. Ей удалось меня одурачить этим прикидом старой доброй мамочки, может, минуты на три, когда я только пришел утром, но не дольше. И я не думаю, что хоть кого-то из вас, парни, она водила за нос полгода или год. *Ё-о-ксель*, повидал я сук на своем веку, но она всех уделает.

– Сука? Но секунду назад она была яйцерезкой, потом стервятницей... Или курицей? Вы запутались в метафорах, друг мой.

– Да черт с ними; она сука, и стервятница, и яйцерезка, и не прикидывайся – ты понимаешь, о чем я.

Лицо и руки Хардинга теперь мельтешат как никогда – просто ускоренная киносъемка из жестов, усмешек, гримас, ухмылок. Чем больше он пытается совладать с собой, тем быстрее разгоняется. Когда он дает волю рукам и лицу двигаться как им хочется, не пытаясь сдерживать, они так текут и шевелятся, что даже приятно смотреть, но когда он нервничает из-за них и пытается сдерживать, он становится буйной, дергающейся, лихорадочно пляшущей марионеткой. Весь он сплошное мельтешение, и речь его ускоряется до предела.

– Да ну что вы, друг мой Макмёрфи, собрат по психозу, наша мисс Рэтчед – сущий ангел милосердия, и *всем* это известно. Она бескорытна как ветер, трудится на благо всех, не видя благодарности, день за днем, пять долгих дней в неделю. Какое сердце, друг мой, какое сердце. К тому же мне известно из надежных источников – я не волен разглашать их, но могу сказать, что Мартини держит связь с теми же людьми, – что она и *в выходные* не прекращает служение человечеству, внося щедрый вклад в местную благотворительность. Готовит богатый набор даров – консервы, сыр для вяжущего действия, мыло – и преподносит какой-нибудь бедной молодой паре, переживающей финансовые трудности. – Руки у него мелькают, вылепляя из воздуха эту картину. – Ах, гляньте: вот она, наша сестра. Легкий стук в дверь. Корзина с лентой. Молодая пара от радости лишается дара речи. Муж разинул рот, жена не прячет слез. Она хвалит их хозяйство. Обещает прислать денег на... чистящий порошок, да. Ставит корзину посреди пола. А когда наш ангел уходит – воздушные поцелуи, неземные улыбки, – она до того *переполнена* сладким млеком добродетели, скопившимся в ее большой груди, что источает великодушие. *Источает*, слышите? Задержится у двери, отведет в сторонку робкую невесту и вручит ей двадцать долларов: «Иди, бедное, несчастное, голодное дитя, иди купи себе *приличное* платье. Я *понимаю*, твой муж не может раскошелиться, но вот, возьми и *иди*». И эта пара навеки в неоплатном долгу перед ней.

Он говорит все быстрее и быстрее, и на шее у него вздуваются вены. Когда он замолкает, в отделении повисает тишина. Я не слышу ничего, кроме слабого шипения, и догадываюсь, что это скрытый магнитофон пишет наши разговоры.

Хардинг осматривается, видит, что все смотрят на него, и старается, как может, рассмеяться. Он исторгает такой звук, словно гвоздь вытаскивают из зеленой сосны:

– И-и-и-и-и-и-и-и-и.

Ничего не может поделаться. Он сучит руками, точно муха лапками, и зажмуривается от своего ужасного смеха. Но поделаться ничего не может. Этот визг становится все выше и выше, и наконец Хардинг втягивает воздух и прячет лицо в ладони.

– Ах, она сука, сука, сука, – шепчет он сквозь зубы.

Макмёрфи закуривает еще одну сигарету и предлагает ему; Хардинг берет ее без слов. Макмёрфи продолжает смотреть на него с каким-то ошарашенным видом, словно никогда до этого не видел человеческого лица. Он смотрит, как ерзанье и дерганье Хардинга замедляется и из ладоней появляется лицо.

– Вы правы, – говорит Хардинг, – во всем правы. – Он поднимает взгляд на других пациентов, смотрящих на него. – Никто еще не смел взять и сказать это, но нет среди нас человека,

какой бы не думал этого, не чувствовал бы к ней и ко всей этой лавочке того же, что и вы, – где-то в самой глубине своей маленькой напуганной души.

Макмёрфи хмурится и спрашивает:

– А что с этим докторишкой? Может, он и тугодум, но не настолько, чтобы не видеть, как она тут верховодит и что делает.

Хардинг делает долгую затяжку, и пока он говорит, изо рта у него выходит дым.

– Доктор Спайви... точно такой же, как и все мы, Макмёрфи, совершенно сознает свою неадекватность. Он – напуганный, отчаявшийся, никчемный кролик, совершенно неспособный управлять этим отделением без помощи нашей мисс Рэтчед, и он это знает. И, что еще хуже, она *знает*, что он это знает, и напоминает ему при каждом случае. Каждый раз, как она выясняет, что он допустил какую-то оплошность в учете или, скажем, в графиках, можете не сомневаться, что она тычет его носом.

– Так и есть, – говорит Чезвик, встав рядом с Макмёрфи, – тычет нас носами в наши ошибки.

– Почему он ее не уволит?

– В этой больнице, – говорит Хардинг, – у врача нет власти нанимать и увольнять. Такая власть есть у инспектора, а инспектор – женщина, старая подруга мисс Рэтчед; в тридцатые они вместе служили сестрами в армии. Мы здесь – жертвы матриархата, друг мой, и врач против этого так же беспомощен, как и мы. Он понимает, что все, что требуется Рэтчед, это снять трубку со своего телефона, позвонить инспекторше и обмолвиться, ну, скажем, что врач, похоже, *многовато* заказывает демерола...

– Постой, Хардинг, я не секу в этой химии.

– Демерол, друг мой, это синтетический опиат, вызывающий зависимость вдвое сильнее героиновой. Врачи нередко на него подсаживаются.

– Этот шибздик? Наркоман?

– Чего не знаю, того не знаю.

– Тогда чего она добьется своим обвинением...

– А, вы невнимательны, друг мой. Обвинять ей *не нужно*. Всего лишь намекать, на что угодно, разве не заметили? Сегодня не заметили? Подзовет человека к двери сестринского поста, стоит там и спрашивает о салфетке, найденной у него под кроватью. Ничего такого, просто спрашивает. А он, что ни ответит ей, чувствует себя вруном. Если скажет, чистил ручку, она скажет: «Значит, ручку», а если скажет, это насморк, она скажет: «Значит, насморк» – и кивнет своей седой фризурой, и улыбнется своей улыбочкой, и вернется обратно к себе, а человек будет стоять и думать, *зачем же* ему понадобилась эта салфетка.

Он снова начинает дрожать и незаметно для себя заворачиваться в плечи.

– Нет. Обвинять ей не нужно. Она гений намеков. Вы разве слышали на сегодняшнем собрании, чтобы она хоть в чем-то обвинила меня? А кажется, в чем только меня не обвинили: в ревности и паранойе, в том, что я не мужчина, раз не могу удовлетворить жену, в связях с мужчинами, в том, что я как-то не так держу сигарету, и даже, как мне показалось, будто у меня ничего нет между ног, кроме кустика волос – таких *мягких, пушистых, белокурых!* Яйцезерка? О, вы ее *недооцениваете!*

Хардинг внезапно смолкает, подается вперед и берет Макмёрфи за руку двумя руками. Лицо у него странно перекошено, черты заострились и пошли буро-лиловыми пятнами – не лицо, а битая бутылка вина.

– Этот мир... во власти сильных, друг мой! Таков ритуал нашего бытия, что сильные становятся сильнее, пожирая слабых. Мы должны признать это. Такова правда жизни, вот и все. Мы должны научиться принимать это как закон природы. Кролики принимают свою роль в этом ритуале и признают за волком силу. А для защиты кролик становится хитрым, и пугливым, и изворотливым, и роет норы, чтобы прятаться, когда волк рядом. И этим спасается, и

выживает. Он знает свое место. И уж конечно, не бросает волку вызов. Разве мудро это было бы? Ну?

Он выпускает руку Макмёрфи, откидывается, закинув ногу на ногу, и делает еще одну долгую затяжку. Затем улыбается своей треснутой улыбкой, вынимает сигарету и давай опять смеяться:

– И-и-и-и-и-и-и-и, – словно гвоздь вытаскивают из доски. – Мистер Макмёрфи... друг мой... я не курица, я кролик. И врач кролик. И Чезвик вот кролик. И Билли Биббит. Все мы здесь кролики, разных лет и степени, прыг-скачущие по нашему диснеевскому миру. Только не поймите превратно: мы здесь *не потому*, что мы кролики – мы везде были бы кроликами, – мы все здесь потому, что не можем *приспособиться* к нашей кроличьей жизни. Нам нужен хороший сильный волк или волчиха, как медсестра, чтобы мы знали свое место.

– Мужик, ты в дурь попер. Хочешь мне сказать, что собираешься сидеть и слушать какую-то кошелку с синими волосами, утверждающую, что ты кролик?

– Не утверждающую, нет. Я родился кроликом. Только глянь на меня. Мне просто нужна медсестра, чтобы быть *счастливым* кроликом.

– Никакой ты, на хрен, не кролик!

– Видишь уши? Непоседливый носик? Хвостик пимпочкой?

– Ты говоришь, как ненор...

– Как ненормальный? Очень проникательно.

– Блин, Хардинг, я не это имел в виду. Не в этом смысле ненормальный. Я в смысле... черт, я удивился, насколько вы все, парни, разумны. Как по мне, так вы ничуть не ненормальней, чем средний засранец на улице...

– Ну-ну, засранец на улице.

– Но не как, знаете, в кино показывают ненормальных. Вы просто замороженные и... вроде...

– Вроде кроликов, так ведь?

– *К черту* кроликов! Ничего похожего на кроликов, ёлы-палы!

– Мистер Биббит, попрыгайте тут ради мистера Макмёрфи. Мистер Чезвик, покажите ему, какой вы *пушистый*.

Билли Биббит и Чезвик прямо на моих глазах обратились в согбленных белых кроликов, но слишком оробели, чтобы исполнить просьбу Хардинга.

– Ой, они стесняются, Макмёрфи. Правда, мило? Или, может, ребятам не по себе, потому что не вступились за друга. Возможно, они чувствуют вину за то, что снова позволили ей сделать себя ее допросчиками. Не унывайте, друзья, вам нечего стыдиться. Все как должно быть. Не годится кролику вступаться за собрата. Это было бы глупо. А вы поступили мудро – трусливо, но мудро.

– Послушай, Хардинг, – говорит Чезвик.

– Нет-нет, Чезвик. Не надо сердиться на правду.

– Знаешь чего; было время, когда я говорил о старушке Рэтчед то же самое, что и Макмёрфи.

– Да, но ты говорил это очень тихо, а потом и вовсе взял свои слова назад. Ты тоже кролик, не пытайся отрицать правду. Поэтому я на тебя и не в обиде за те вопросы, что ты мне задавал сегодня на собрании. Ты просто играл свою роль. Если бы на ковер вызвали тебя, или тебя, Билли, или тебя, Фредриксон, я бы напал на вас не менее жестоко. Мы не должны стыдиться своего поведения; нам, мелким зверушкам, положено так вести себя.

Макмёрфи поворачивается, сидя верхом на стуле, и оглядывает остальных острых.

– А я не уверен, что им нечего стыдиться. Лично я подумал, это чертовски подло, как они переметнулись на ее сторону против тебя. Показалось даже, что я снова в красном китайском лагере...

– Боже правый, Макмёрфи, – говорит Чезвик, – ты вот послушай.

Макмёрфи поворачивается к нему, готовый слушать, но Чезвик сдулся. Чезвик всегда сдувается; он из тех, что поднимут много шума, словно готовы вести в атаку, покричат, потопают с минуту, сделают шаг-другой – и в кусты. Макмёрфи смотрит на него, впавшего в ступор после такого многообещающего зачина, и говорит ему:

– Как есть, блин, китайский лагерь.

Хардинг воздевает руки, призывая к миру.

– Ой, нет-нет, не надо так. Вы не должны нас осуждать, друг мой. Нет. Между прочим...

Я вижу, как в глазах Хардинга снова разгорается лукавый огонек; думаю, сейчас опять начнет смеяться, но он вынимает изо рта сигарету и указывает ею на Макмёрфи – у него в руке сигарета кажется еще одним пальцем, таким же тонким и белым, только дымящимся.

– ...Вы тоже, мистер Макмёрфи, при всей вашей ковбойской бравате и карнавальном кураже вы тоже, под этим заскорузлым панцирем, наверняка такой же мягкий и пушистый, с кроличьей душой, как и мы.

– Ага, еще бы. Типичный американский кролик. И что же во мне такого кроличьего, а, Хардинг? Мои психопатические наклонности? Или склонность драться? А может, ебаться? Наверно, все же ебаться. Мои амурсы. Ну да, они, наверно, и делают меня кроликом...

– Подождите; боюсь, вы затронули вопрос, требующий некоторого рассмотрения. Кролики известны этой чертой, не так ли? Даже печально известны. Да. Хм. Но в любом случае вопрос, затронутый вами, лишь указывает, что вы здоровый, полноценный, адекватный кролик, тогда как большинство из нас не может этим похвастаться. Никчемные создания, вот мы кто – чахлые, пришибленные, слабые особи слабого народца. Кролики без амуров; жалкая картина.

– Подожди-ка; ты переиначил мои слова...

– Нет. Вы были правы. Помните, это ведь вы обратили наше внимание на то место, куда нас клюет сестра? Это правда. Среди нас нет никого, кто бы не боялся потерять – если еще не потерял – свою мужскую силу. Мы смешные зверьки, которые не могут быть самцами даже в кроличьем мире, – вот насколько мы слабы и неполноценны. Х-и-и. Нас можно назвать кроликами *кроличьего мира*!

Хардинг снова подается вперед и начинает смеяться этим своим натянутым, писклявым смехом, оправдывая мои ожидания; руки его порхают, лицо дергается.

– Хардинг! Захлопни варежку!

Это как пощечина. Хардинг умолкает, на лице застывает усмешка, руки виснут в сизом облаке табачного дыма. Он замирает на секунду; затем щурит глаза в лукавые щелки и, вскинув взгляд на Макмёрфи, говорит так тихо, что мне приходится подойти к нему сзади со шваброй, чтобы расслышать.

– Друг... *ты*... может, волк?

– Никакой я не волк, ёлы-палы, и ты не кролик. *Ёксель*, никогда еще не слышал такой...

– Рык у тебя самый волчий.

Макмёрфи шумно выдыхает, вытянув губы трубочкой, и поворачивается от Хардинга к остальным острым, обступившим их.

– Вот что; всех касается. Какого хрена с вами творится? Вы не настолько спятили, чтобы считать себя какими-то зверушками.

– Нет, – говорит Чезвик и подходит к Макмёрфи. – Нет, ей-богу. Я никакой не кролик.

– Молодец, Чезвик. И остальные, ну-ка бросьте это. Также мне, приучились драпать от пятидесятилетней тетки. Да что она такого может с вами сделать?

– Да, что? – говорит Чезвик и злобно зыркает на всех.

– Высечь она вас не может. Каленым железом прижечь не может. На дыбу вздернуть не может. Теперь у них законы против этого; сейчас не Средние века. Ничего она не сделает такого...

– Ты *в-в-видел*, что она м-может с нами с-с-сделать! На сегодняшнем собрании.

Я вижу, Билли Биббит снова сделался из кролика человеком. Он наклоняется к Макмёрфи, пытаюсь договорить свою мысль, на губах у него пена, а лицо красное. Затем разворачивается и уходит, бросив напоследок:

– А, б-б-без толку. Я лучше п-п-покончу с собой.

Макмёрфи окликает его:

– На собрании? А что такого было на собрании? Все, что я видел, это как она задала вам пару вопросов, и совсем не страшных – охренеть. Вопросами кости не переломаешь – это не дубинки и не камни.

Билли оборачивается.

– Но к-к-как он-на их задает...

– Вы же можете не отвечать, а?

– Если не от-тветишь, она просто улыбнется и сд-сд-сделает заметку у себя в бл-бл-блокноте, а потом она... она... ой, *блин!*

К Билли подходит Скэнлон.

– Не ответишь ей на вопрос, Мак, так самым молчанием *признаешь* за ней правоту. Вот так эти гады в правительстве и добиваются своего. С ними не сладишь. Единственное, что можно – это взорвать всю их шайку-лейку к чертям собачьим, чтобы следа не осталось.

– Ну, задаст она вам свой вопрос, а вы что – послать ее к черту не можете?

– Да, – говорит Чезвик, потрясая кулаком, – послать ее к черту.

– Ну а дальше что, Мак? Она тут же спросит: «И чем же, *пязьвольте узнять*, вас так *огорчил* этот вопрос, пациент Макмёрфи?»

– Так снова пошли ее к черту. Всех их пошлите. Они же бить вас не будут.

Острые сгрудились вокруг него. На этот раз ответил Фредриксон:

– Окей, скажешь ей такое, и тебя запишут в потенциально буйные и переведут наверх, в беспокойное отделение. Я там бывал. Три раза. Этим бедолагам не дают даже смотреть вечернее кино по воскресеньям. У них и телека нет.

– А если будешь *и дальше* проявлять враждебные наклонности, то есть посылать людей к черту, тебе, друг мой, пропишут шокоблок, а может, и что-нибудь посерьезней – операцию или...

– Черт, Хардинг, я же сказал, что не секу в этой теме.

– Шокоблок, мистер Макмёрфи, это жаргонное обозначение кабинета ЭШТ, электрошоковой терапии. Это устройство, можно сказать, совмещает функции снотворного, электрического стула и дыбы. Умная такая процедура, простая, быстрая, такая быстрая, что почти не чувствуешь боли, но никто ни за что не захочет ее повторения. Ни за что.

– И что там делают?

– Пристегивают к столу – какая ирония – в форме креста, только вместо тернового венца – искры из глаз. К вискам прислоняют контакты. Вжик! И дают тебе в мозг электроразряд на пять центов – сразу получаешь и лечение, и наказание за плохое поведение или сквернословие. К тому же после этого ты как шелковый, от шести часов до трех дней, смотря какой организм. И даже когда придешь в себя, еще несколько дней будут мысли путаться. Не сможешь думать связно. Память нарушится. Прделают такую процедуру достаточное число раз, и человек может стать таким, как мистер Эллис, который стоит там, у стены. Идиотом в тридцать пять, пускающим слюни и мочащимся в штаны. Или безмозглым организмом, который ест и испражняется и кричит «хуй ей», как Ракли. Или взгляни на Вождя Швабру, сжимающего свой тотем у тебя за спиной. – Хардинг указывает на меня сигаретой, и я не успеваю отойти;

делаю вид, что ничего не замечаю, и мету себе дальше. – Я слышал, что Вождь в прежние годы, когда электрошок был в моде, получил больше двухсот разрядов. Представь, как это может сказаться на разуме, и без того помутненном. Взгляни на него: великан со шваброй. Вот он, твой вымиравший американец, подметальная машина шести футов восьми дюймов, боящаяся своей тени. Вот, друг мой, что нам может угрожать.

Макмёрфи смотрит на меня несколько секунд и снова поворачивается к Хардингу.

– Ну и дела. Как вы вообще терпите такое? А что же тогда за парашу гнал мне врач про демократию в отделении? Почему вы не голосуете?

Хардинг улыбается ему и делает еще одну медленную затяжку.

– За что голосовать, друг мой? Чтобы сестра больше не задавала вопросов на групповой терапии? Чтобы она не смела *смотреть* на нас особым взглядом? Скажите, мистер Макмёрфи, за что нам голосовать?

– Черт, да какое дело? За что угодно. Разве не видите, вы должны как-то показать, что вам не слабо? Не видите, что нельзя позволить ей совсем задавить вас? Взгляните на себя: говорите, Вождь боится своей тени, но я за всю жизнь не видел более запуганных ребят, чем вы.

– Но не я! – говорит Чезвик.

– Ну, может, и не ты, дружок, но остальные боятся даже *засмеяться* в открытую. Знаете, это первое, что я заметил, когда пришел сюда, – никто не смеется. С того момента, как я порог переступил, я не слышал настоящего смеха – вы это знаете? Блин, когда теряешь смех, теряешь *силу*. Когда мужик дает бабе до того себя затюкать, что уже смеяться не может, он теряет один из главных козырей. А дальше заметить не успеешь, как он станет считать ее круче себя, и тогда...

– А-а, – говорит Хардинг. – Похоже, мой друг понемногу врубается, братцы-кролики. Скажи-ка, мистер Макмёрфи, как показать женщине, кто главный, если оставить смех в стороне? Как показать ей, кто «король горы»? Такой мужчина, как ты, наверняка скажет нам это. Ты же не станешь мутузить ее? Нет – она вызовет полицию. И кричать на нее не станешь – она приструнит своего большого сердитого мальчика: «Это кто у нас такой мальчик-хулиганчик? А-а-а?» Или ты сумел бы сохранить боевой настрой перед лицом такого умиления? Так что, видишь, друг мой, как ты и сказал: у мужчины есть лишь *одно* по-настоящему действенное оружие против диктата современного матриархата, но это явно не смех. Одно оружие – и с каждым годом в этом обществе, помешанном на исследовании мотиваций, все больше людей выясняют, как противостоять этому оружию и сокрушить того, кто некогда был несокрушим...

– Господи, Хардинг, – говорит Макмёрфи, – ну ты и завелся.

– ...И как по-твоему: сможешь ты, при всех твоих недюжинных психопатических силах, применить это оружие против нашей чемпионки? Думаешь, сможешь применить его против мисс Рэтчед, Макмёрфи? В принципе.

И поводит рукой в сторону стеклянной будки. Все поворачивают головы. Она там, смотрит на нас из-за стекла, со своим секретным магнитофоном, пишущим все это, – уже планирует контрмеры.

Сестра видит, что все смотрят на нее, и кивает, и все отворачиваются. Макмёрфи снимает кепку и запускает пальцы в рыжие вихры. Все теперь смотрят на него; ждут, что он скажет, и он это понимает. Он чувствует, что его загнали в угол. Надевает кепку и трет рубец на носу.

– Что, в смысле – смог бы я засадить этой старой стервятнице? Нет, не думаю, что смог бы...

– Она очень даже ничего, Макмёрфи. Лицо у нее вполне симпатичное и хорошо сохранилось. И, несмотря на все ее *старания* скрыть грудь под этим бесполом облачением, можно различить нечто выдающееся. Должно быть, в молодости была красавицей. Так или иначе, чисто теоретически, смог бы ты ей засадить, даже если бы не ее возраст, даже будь она молода и прекрасна, как Елена?

– Я с Еленой незнаком, но вижу, куда ты клонишь. И видит бог, ты прав. Я никому не смог бы засадить с такой старой холодной физией, как у нее, даже будь она прекрасна, как Мэрилин Монро.

– Так-то. Она выиграла.

Вот и все. Хардинг откидывается на спинку, и все ждут, что теперь скажет Макмёрфи. Он видит, что его приперли к стенке. Смотрит на лица с минуту, затем пожимает плечами и встает со стула.

– Да какого черта, меня это не особо колыхнет.

– Это верно, тебя это не особо колыхнет.

– И я, блин, не хочу нажать себе врага в лице старой перечницы с тремя тысячами вольт. Из одного спортивного интереса.

– Нет. Ты прав.

Хардинг выиграл спор, но никого это особо не радует. Макмёрфи цепляет большими пальцами карманы и пытается рассмеяться.

– Нет, сэр, я еще не слышал, чтобы кому-то предлагали взятку, чтобы он отодрал яйцезрезку.

Все ухмыляются с ним, но им невесело. Я рад, что Макмёрфи будет осторожен и не вяжется во что-то, что ему не по зубам, но и чувства ребят мне понятны; мне и самому невесело. Макмёрфи снова закуривает. Все стоят где стояли. Стоят и ухмыляются с безрадостным видом. Макмёрфи снова трет нос и отводит взгляд от этих невеселых лиц, окруживших его. Он смотрит на сестру и закусывает губу.

– Но ты говоришь... она не отправит тебя в это другое отделение, пока не раздраконит? Пока не добьется, чтобы ты слетел с катушек и стал материть ее, или расфигачил окно, или типа того?

– Пока не сделаешь чего-то такого.

– Значит, ты в этом уверен? Потому что у меня завелась кой-какая мыслишка, как нагреть руки на вас, птахи. Но не хочу облажаться. Я насилу удрал из прежней дыры; не хотелось бы попасть из огня да в полымя.

– Абсолютно уверен. Она тебя не тронет, пока ты честно не заслужишь беспокойное отделение или ЭШТ. Если будешь достаточно осторожен, чтобы она не придралась к тебе, она ничего не сможет.

– Значит, если я буду держаться в рамках и не стану материть ее...

– Или кого-нибудь из санитаров.

– ...Или санитаров, или еще как кипишь поднимать, она ничего мне не сделает?

– Таковы правила, по которым мы играем. Конечно, она всегда выигрывает, друг мой, всегда. Сама она непробиваема, а учитывая, что время работает на нее, она в итоге добирается до каждого. Вот почему она считается в больнице главной медсестрой и имеет такую власть: она как никто умеет скрутить трепещущее либидо в бараний...

– Да к черту это. Что я хочу знать, так это могу ли я рассчитывать на безопасность, если сумею побить ее в ее же игре? Если я буду с ней учтив, как официант, никакие мои *экивоки* не заставят ее озвереть и отправить меня на электрический стол?

– Ты в безопасности, пока держишься в рамках. Если не выйдешь из себя и не дашь ей настоящего повода перевести тебя в беспокойное отделение или прописать электрошок, ты в безопасности. Но главное, не выходить из себя. Сможешь? С твоими рыжими вихрами и темным прошлым. Хватит выдержки?

– Окей. *Порядок*. – Макмёрфи трет ладони. – Вот что я думаю. Вы, птахи, похоже, уверились, что у вас тут такая чемпионка, да? Такая – как ты назвал ее? – да, непробиваемая женщина. Что я хочу знать, это кто из вас железно в ней уверен, чтобы поставить на нее деньги?

– Железно уверен?..

– Именно так: желает кто-нибудь из вас, пройдох, получить с меня пять баксов за мое ручательство достать эту тетку – до конца недели – против того, что она достанет меня? Одна неделя – и, если она у меня не полезет на стенку, выигрыш ваш.

– Ты *ставил* на это? – Чезвик перескакивает с ноги на ногу и трет ладони, подражая Макмёрфи.

– Ты чертовски прав.

Хардинг и еще кое-кто просят разъяснений.

– Все довольно просто. В этом ничего такого запредельного. Я же игрок. И люблю выигрывать. И я думаю, мне по силам выиграть в этой игре, окей? В Пендлтоне до того дошло, что ребята не хотели пенни ставить против меня – никто не мог меня обыграть. Ну да, одна из главных причин, зачем я переправился сюда, это чтобы найти новых лопухов. Скажу вам кое-что: я навел справки об этом месте, прежде чем сюда переметнуться. Чуть не половина из вас, парни, получает гребаное пособие, три-четыре сотни в месяц, а девать их совершенно некуда, только пыль собирать. Я подумал, что смогу нажиться на этом и, может, слегка обогатить вам жизнь. Я с вами откровенен. Я игрок и не привык проигрывать. И сроду такой бабы не видал, которая была бы ббольшим мужиком, чем я, неважно, вставлю я ей или нет. Может, на ее стороне время, но у меня довольно длинная полоса везения, – он снимает кепку, крутит на пальце, подбрасывает через плечо и ловит за спиной другой рукой, – комар носа не подточит. И еще: я здесь потому, что сам так решил, учтите это, потому что здесь получше, чем на работной ферме. Насколько мне известно, я никакой не псих, по крайней мере – не замечал за собой. Сестра ваша этого не знает; она не станет остерегаться кого-то с таким острым умом, как, несомненно, у меня. Все это дает мне фору, и мне это нравится. Так что вот: пять баксов каждому из вас, если я не доведу эту сестру до белого каления за неделю.

– Я все еще не уверен, что...

– Очень просто. Я стану ей занозой в жопе, костью в горле. Раздракноу ее. Так ухандокаю, что по швам расползется, и станет ясно, в кои-то веки, что она не так непобедима, как вы думаете. За неделю. А судить, победил я ее или нет, будет не кто иной, как ты.

Хардинг вынимает карандаш и пишет что-то на картежной карточке.

– Вот. Залоговое обязательство на десять долларов из тех денег, которые пылятся у них в фонде, на мое имя. Готов поставить вдвое больше, друг мой, чтобы увидеть это невероятное чудо.

Макмёрфи смотрит на листок и складывает его.

– Еще кто-нибудь из вас, птахи, готов сделать ставку?

Выстраиваются остальные острые и расписываются в блокноте. Когда все расписались, Макмёрфи берет все карточки и кладет себе на ладонь, прижав закрученным большим пальцем. Я смотрю на эту стопку у него в руке. Он тоже смотрит на нее.

– Доверяете мне хранить расписки, парни?

– Полагаю, мы ничем не рискуем, – говорит Хардинг. – Ты отсюда никуда не денешься в обозримом будущем.

6

Однажды в Рождество, ровно в полночь, еще на старом месте, входная дверь с треском распахнулась, и вошел бородатый толстяк с красными от холода глазами и вишневым носом. Черные ребята враз обступили его с фонариками. Я вижу, толстяк весь в мишуре, которую общественные связи повсюду растянули, и он запутался в ней в темноте. Он прикрывает руками глаза от фонариков и сосет усы.

– Хо-хо-хо, – говорит он. – Я бы рад задержаться, но надо спешить. Очень плотный график; сами знаете. Хо-хо. Надо идти...

Но черные не стали его слушать. Шесть лет в отделении продержали, прежде чем выпустили, гладко выбритого и тощего как жердь.

Старшей Сестре стоит только регулятор повернуть на стальной двери, и настенные часы пойдут с любой скоростью; взбредет ей в голову расшевелить всех, она прибавит скорость, и стрелки закрутятся, как спицы в колесе. Освещение в панорамных окнах-экранах – утро, день, вечер – стремительно меняется, бешено пульсируя, и все носятся как угорелые, не успевая за фальшивым временем: жуткая кутерьма из бритья-завтраков-посещений-обедов-лекарств и ночей по десять минут, так что едва глаза сомкнешь, как снова свет кричит вставать и начинать кутерьму по-новой, как сукиному сыну, выполняя весь суточный распорядок по двадцать раз за час, пока Старшая Сестра не увидит, что все уже дымится, и тогда сбросит газ, замедлит бег стрелок, словно ребенок наигрался с кинопроектором, устав смотреть, как пленка крутится с десятикратной скоростью, и все мельтешат и верещат, как насекомые, и ставит нормальный режим.

Обычно она накручивает скорость в те дни, когда у тебя, скажем, посетитель или когда парни из порглендского Общества привезут порнуху – в такие моменты, когда тебе хочется побыть на месте и никуда не спешить. Вот тогда она и ускоряет время.

Но чаще она ставит обратный режим, медленный. Повернет регулятор до полного останова, и солнце замрет на экране, так что неделями висит на месте, и ни единый листик на дереве, ни травинка на лугу не шелохнется. Стрелки застыли на без двух три, и она может держать их так, пока нас ржа не съест. Сидишь как истукан, не шевелясь, не можешь ни ходить, ни двигаться, чтобы расслабить мышцы, глотать не можешь, дышать не можешь. Только глазами можешь двигать, но смотреть не на что, кроме окаменевших острых у дальней стены, ждущих за столом, кому теперь ходить. Старый хроник рядом со мной уже шесть дней как умер и пригнивает к стулу. А иногда вместо тумана она пускает по вентиляции прозрачный химический газ, который сгущается в пластик, и все отделение намертво в нем застывает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.